

ЮРИЙ АВДЕЕНКО



СОЛНЦЕ НАД
ОКОПАМИ

ЮРИЙ АВДЕЕНКО

СОЛНЦЕ НАД ОКОПАМИ

***Повесть
Рассказы***

**ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА • 1968**

P2

A18

ВОСХОД В ПЯТЬ СОРОК

Рассказы





СОЛНЦЕ НАД ОКОПАМИ

Надо же случиться... Машина застряла. Она стояла, наклонившись на правый борт. Беспомощно вертела колесами. И вид у нее был жалкий... Слева шумел лес, справа лежало поле, холмистое, обжитое бурьяном. Дорога служила границей между лесом и полем. Она была проселочной, полузаброшенной. Немногочисленные местные жители пользовались автострадой, проложенной около года назад.

Старшина Жуков сам выбрал эту дорогу. И теперь злился. Он хотел сократить путь. Потому что торопился доставить горячий завтрак на батальонные учения. Сказал шоферу Зацепину, чтобы тот гнал напрямик, по проселочной. А Зацепин был первогодок. Дорог здешних не знал. Тут же вдруг разразился ливень... Вот и стоит машина, грязь колесами месит.

Зацепин нервничает в кабине. Гимнастерка под лопатками потемнела. А старшина Жуков вначале подтапывал машину. Потом пошел в лес, приволок оттуда бревно. Подсунул его под заднее колесо. Крикнул:

— Газуй!

Машина напряглась. И немного тронулась с места. Но бревно вдруг поползло в сторону, норовя выскочить из-под колеса. И тогда старшина Жуков допустил неосторожность. Пнул бревно левой ногой, но неожиданно поскользнулся и упал на спину. Хмурое еще секунду назад небо внезапно озарилось ярким светом... Потом наступила тьма.

Как позднее выяснилось, старшина Жуков очнулся быстро. Он по-прежнему лежал на спине, но не видел больше ни неба, ни яркого света, а только испуганное лицо шофера Зацепина и его страдальческие глаза.

— Живы! Товарищ старшина, живы... — словно не веря, повторял Зацепин.

Старшина хотел сесть, уперся руками в землю, но сильная боль в левой ноге заставила его охнуть и промедлить.

— Помоги, — сказал он Зацепину несколько секунд спустя.

Солдат взял Жукова под мышки, помог сесть.

Машина теперь стояла метров на пять впереди. Значит, Зацепину удалось выбраться из гиблого места. Это хорошо.

Жуков согнул в коленке правую ногу. Правая ничего, нормальная. Перелом только в левой. Закрытый или открытый? Не разберешь. Сапог весь в грязи и штанина тоже.

— Товарищ старшина, потерпите. Я сейчас. Только машину разверну.

— Зачем? — глухо спросил Жуков.

— Я в санчасть... Я в санчасть вас мигом доставлю.

— Запрещаю, — сказал Жуков.

Шофер растерянно остановился, недоуменно сдвинул на затылок пилотку.

— До санчасти по такой дороге — сорок минут езды, не меньше. Вдруг снова застрянем. А с завтраком уже запаздываем, — продолжал Жуков, и лицо его морщилось от боли. — Нас с тобой сотни людей ждут.

— Правильно, конечно... Но ведь нога... Несправедливо это, товарищ старшина.

— Сними с меня сапог.

Зацепин стащил сапог, нога еще не успела распухнуть. Но старшина Жуков опять потерял сознание. Размотав портянку, Зацепин сразу понял, что перелом

закрытый, но он сразу понял и другое — старшину нужно немедленно везти в санчасть или даже прямо в госпиталь.

Подхватив Жукова на руки, Зацепин, тяжело ступая и боясь поскользнуться, пошел к машине. Однако тут же сообразил, что никак невозможно довезти старшину в тесной кабине, хорошо бы положить его в кузов, предварительно сделав ложе из еловых лап.

В кузове с лица Жукова схлынула бледность. Оно стало обыкновенного загорелого цвета. И старшина попросил помочь ему сесть, опершись о ящик с хлебом.

— Так я того... — осторожно начал Зацепин. — В санчасть, значит, товарищ старшина.

— Отставить санчасть, — строго ответил Жуков. — Рядовой Зацепин, выполняйте приказание...

Загудел мотор, качнулся, словно поплыл, кузов. И небо накренилось, коснулось земли, там, за поросшим травой полем. Знакомое поле, исхоженное, исползанное Жуковым на занятиях по тактике. Тогда еще не старшиной Жуковым, а рядовым солдатом. За штурм той высоты с прозаическим названием «Плоская» первая благодарность была получена. А вот здесь на опушке — первый окоп Жуков вырыл — одиночный, полного профиля. Сейчас мимо стрельбища поедут, первый раз тут из автомата стрелял...

А Зацепин — новичок. Что он знает? Санчасть, санчасть... Перепугался — ногу покалеченную увидел. Сплюховал.

Да и он тоже хорош, старшина Жуков. И не просто старшина, а сверхсрочной службы. Уже неделю с ним неладное творится. И все из-за того письма. Понятно, пелегко обмануться в человеке. Но раскисать зачем? Действительно, зачем?.. Вот бы солнце выглянуло. Теплое, лохматое. Тогда можно было бы закрыть глаза. И ни о чем не думать. А машина укачивает, словно ребенка в люльке. Интересно, его, старшину Жукова, мать качала в люльке?..

...Зацепин беспокоен. Он останавливает машину. Выходит на дорогу, мягкую и скользкую. Хватается руками за борт и подтягивается. Он видит, что старшина Жуков сидит, свесив на грудь голову, глаза его закрыты, и цвет лица нехороший.

В санчасть! Без промедления в санчасть. Зацепил крутит баранку, машина пятится... А старшина Жуков что есть мочи стучит кулаком о кабину:

— Зацепин!

— Так точно... Слушаю вас, товарищ старшина.

— Лезь в кузов!

Шофер послушен и тороплив.

— Ты почему не выполняешь приказания?

— Никак нет. Я выполняю. — Зацепин не оправдывается, а наступает. — Я выполняю свое собственное приказание. Так как вы, товарищ старшина, вышли из строя. И я взял командование машиной на себя.

— Ловкач ты, однако. — Жуков качает головой. — Помни, Зацепин, всегда помни. Ты солдат. Что бы с тобой ни случилось, сломал ли ты руку, ногу, но если ты жив, то обязан выполнить приказ. У солдата много заповедей, но эта самая святая. Понял?!

— Понял, товарищ старшина.

— Ступай за баранку. Но учти, больше бесед не будет. Если что... пойдешь под суд.

Шофер уже на земле, когда Жуков опять зовет:

— Зацепин! Я говорю, Зацепин, солнышко бы выглянуло. Здорово было бы. Правда?

— Ничего, товарищ старшина, — не понимает Зацепин. — Доедем и так...

А солнца нет. И тучи быстро идут, одна другую подгоняют. По левой стороне деревья шумят. Разные... Нравится Жукову этот край. Только дикий он. Безлюдный. Служил бы Жуков в городе, не расстроило бы его так письмо. Не повлияло бы... Конечно, в чем-то Наденька и права.

«Любви между нами не было, а только дружба».

Но еще письма были. Которым он очень верил... Письма обыкновенные. Но издалека. А когда весточка от девочки приходит лишь на десятые сутки, самые простые слова обретают особый смысл, и глубину, и многозначительность. И все представляется в другом, каком-то исключительном свете. Рождается вера, большая, способная противостоять и времени и расстоянию.

Старшина Жуков задирает голову, смотрит в небо. Тучи на западе редуют. Может, ветер разгонит их. Тогда появится солнце. И лес распростится с хмуростью, в дорогах...

«Придумал я Наденьку, — говорит Жуков сам себе. Говорит спокойно, без горечи. — За три года придумал. Потому что других девчат не видел. Вот и сделал из Наденьки икону...»

Он познакомился с ней, когда работал на заводе. Девчонки из цеха ему не нравились. Они ходили в таких же засаленных спецовках, что и он. И лица, и руки у них часто бывали в смазке или в мазуте. И у него не замирало сердце, когда он смотрел на них. Гораздо симпатичнее были девчонки из заводского управления. Они приходили на работу с умопомрачительными прическами, чистенькие, как котята. В цветных юбках и кофтах. Они любили тонкие духи и молодых инженеров. А с Жуковым разговаривали громко и заносчиво.

Он не то чтобы злился на канцелярских девчонок, но иногда ему хотелось устроить им какую-нибудь неприятность. Отбить охоту задирать носы. И рано или поздно он бы выполнил свое намерение, если бы не повстречал Надю.

Комсорг цеха попросил, чтобы Жуков, как член бюро, сопровождал по заводу экскурсантов-школьников.

У проходной человек сорок: детишки пятиклассники и с ними две вожатые. Одна старшая. Другая — просто вожатая. Девятиклассница Надя. В коричневой форме. При белом фартуке. И сама беленькая, только пальцы в чернилах.

Часа три водил их по заводу. И они все захотели есть. И очень обрадовались лоточнице с пирожками, которую увидели возле механического цеха. Окружили, словно цыплята квочку, и подняли жуткий галдеж. У Жукова даже звенеть в ушах начало.

— Никогда не смог бы работать вожатым, — сказал он беленькой Наде.

Она ответила:

— А вы бы попробовали.

— Пробовал, когда учился в восьмом классе... Но пионеры ударили меня галошей.

Она сказала:

— Не может быть.

— Нет, — сказал он. — Меня ударили галошей. Я открыл дверь в пятый «Б»... А галоша попала мне в грудь.

— Скорее всего, она предназначалась кому-то другому.

— Я не спорю. И если бы галоша была новая...

— Она была старая, — прервала Надя.

— Да. С лиловой потертой стелькой. И это отбило у меня педагогические наклонности.

— Однако вы не стойкий товарищ.

— Надо мной... Вернее, со мной еще нужно много работать. Но честное слово, я очень легко поддаюсь перевоспитанию. И не бью старших галошами.

— Это самое главное, — усмехнулась Надя.

И Жукова понесло:

— Мама не ругает вас, когда вы возвращаетесь поздно?

— Что вы? В десять я всегда дома... Иногда в одиннадцатый. Но очень редко.

— Тогда я возьму билеты на семичасовой сеанс...

Она кивнула и тихо ответила:

— Хорошо.

...Развилка дорог. Машина останавливается. Зацепив выглядывает из кабинки.

— Товарищ старшина, теперь куда? Направо или налево?

— Налево, Зацепин. В лес, налево...

— А ваше здоровье как?

— Нормально... Вот только знобит маленько и тошнота к горлу подступает. Солнышко бы не мешало...

Да, Наденька! Потом чуть не побил ее. Жуков нет, не приревновал ее к тому желторотику, просто очень обиделся. Судите сами. Сходили в кино. Проводил он Надю. Скромно и прилично. Говорит:

— Завтра встретимся?

— Нет. У меня в пятницу контрольная работа по алгебре. Нужно готовиться.

Алгебра — наука серьезная. Договорились увидеться после контрольной.

В четверг весь вечер сидел он дома, как индюк на жердочке. Пластинки слушал. На несчастье, сигареты кончились. Времени десять. В дежурный магазин бежать нужно. На улицах людей мало. Фонари верхушки деревьев подсвечивают. Идет Жуков быстрым шагом. Песенку насвистывает. О Наде думает. И представляете, видит... Идет его Наденька с каким-то мальчиком под руку. И мило болтает. Обалдел Жуков. Рот от удивления распахнулся, как веер, и не закрывается. Ног двинуть с ме-

ста не может, словно его к тротуару гайками прикрепили.

А Наденька кинула взгляд в сторону Жукова. Голову опустила. И милая парочка прошмыгнула на другую сторону улицы так быстро, что позднее Жуков, грешным делом, думать стал: а не показалось ли ему все это?

В пятницу час ожидал ее на углу у кинотеатра. Не пришла. Только Туапсе — город маленький. И люди, особенно молодые девчонки, все — как на блюде: Встретил он Наденьку с ее мальчиком. Подошел и сказал ему:

— Отойди.

Думал, драться будет. Нет. Отошел шагов на десять безропотно. И стоит.

Наденька посмотрела на Жукова с удивлением. Храбро спросила:

— Что дальше?

— Ничего, — махнул рукой Жуков и гордо удалился.

В среду вышел из завода. Смотрит, возле проходной школьница в темном фартуке. Неужели Надя?! Точно.

— Здравствуй, — улыбается.

Глаза немножко виноватые. Но не очень...

— У нас пробки, — говорит, — перегорели. А папа в командировке. Починить некому.

Вот такая она, Наденька...

Четыре года назад это было. Теперь ей двадцать лет. И она рассуждает, как взрослая:

«Я очень рада, что ты нашел свое призвание и остался на сверхсрочную службу. Желаю тебе счастья. Не подумай, что меня пугают расстояния. Не поеду я к тебе не потому, что это далеко. Я люблю другого... Любви между нами не было, а только дружба».

Коротко, и просто, и ясно. Лишь тоска на душе у Жукова, а злости нет. И громких слов про обман, про измену ему произносить не хочется. Не было измены и обмана тоже... Юность была. И первые чувства... Как первая благодарность, первый окоп, первый выстрел. Но первое не всегда означает настоящее. Потом он еще много раз получал благодарности, рыл окопы, стрелял из автомата. А Наденька оставалась одной-единственной. Может, только потому, что не было других в этом далеком, очень далеком гарнизоне.

Ну, а если бы поменяться местами, если бы служили в армии не ребята, а девчата. И его Наденька оказалась

бы за сотни километров от Туапсе... Стал бы он, Жуков, ждать ее? Отвечай! Только честно. Все равно машина ревет и, хоть во весь голос кричи, никто не услышит.

Сложно. Трудно найти честный ответ. Потому что уж очень хочется выгородить себя. Сказать: да, я ждал бы и дождался. Смотрите, какой я хороший!

...Машина останавливается. Глохнет мотор. И наступившую тишину вдруг взрывает протяжное:

— Ура-а!

Это солдаты батальона дружно, громко, радостно приветствуют машину, и шофера, и его, Жукова. Ему становится очень хорошо, он забывает про боль в ноге, про тоску, про Наденьку. Что-то теплое и большое ласково касается его лица. Старшина поднимает глаза. И видит солнце. Оно протиснулось сквозь тучи, раздвинуло их. И светит над окопами — яркое и веселое.





СКОЛЬКО ЗИМ

А воська из дождя и снега висела над дорогой, по которой уже второй час, стуча разболтанными стеклами, трясся продрогший автобус из Мурманска. Дорога, без неба, тонула в мглистой слякоти, петляя мимо скрюченных, покинутых листвою берез, мимо озер, длинных и крошечных, мимо насупленных валунов. Вместе с дорогой петлял автобус, подставляя ветру мокрые малиновые бока...

Грибанов томился, приткнувшись к спинке кресла, нагретого за дорогу, ставшего его местом, его домом на эти серые три часа.

Лицом к нему сидела молодая пара. Черненькая, южного типа, женщина и белобрысый, беспредельно счастливый парень. Он все время обнимал свою спутницу. Прижимался к ней щекой. И женщина, млея от счастья, поглядывала из-под прищуренных ресниц вызывающе и нагло. Будто Грибанов умышленно сел напротив, будто не прятал взгляда в размытое стекло. Будто... В конце концов, он не выбирал билет, а заспанная кас-

сирша сунула ему зеленоватую бумажку, написав на ней авторучкой цифру «четыре».

Ему не понравился Мурманск — город, пропахший рыбой. Впечатление, что река Кола не имеет цвета, сложилось, вероятно, из-за сумрачных оттенков, преобладающих во всем. Однообразие цвета не вызывало отклика в душе. И небо, и земля, и вода походили друг на друга, будто близнецы. В Мурманске Грибанов вновь вспомнил про закон контраста, о котором он недавно говорил на лекции в Доме журналистов. И с сожалением смотрел на небо, словно спрашивал: а где сейчас солнце? Крупные темные чайки что-то кричали. Но Грибанов не понимал крика птиц и уныло сравнивал их с черноморскими чайками, белыми и быстрыми, как ветер.

...Автобус затормозил. Водитель сказал в микрофон, раскатисто, точно в пустую бочку:

— Остановка!

Грибанов выпрыгнул на обочину. Нога скользнула по жидкому снегу, а сумка с фотоаппаратурой увесисто стукнула о бедро. Щелкнули дверцы, как створки кошелька. Автобус выдохнул струю синего дыма и тяжело пополз вперед.

Жилья Грибанов не увидел. Только ржавое железно-дорожное полотно, где под тонкой полупрозрачной кашей снега угадывался мох да короткая выгоревшая трава, плелось куда-то рядом с дорогой. И Грибанов пошел вперед по дороге, предполагая, что городок где-то впереди и что шофер просто поторопился остановить автобус.

Облака были низкие и совсем не белые, а словно застиранные. Грибанов посмотрел на часы: около четырех. По его представлениям, здесь должна уже быть ночь. А если ее нет, то она скоро наступит. И от этого предчувствия стало как-то одиноко и тоскливо.

Шум автобуса пропал. И ему на смену пришел другой шум. Станный, но что-то смутно напоминающий... За поворотом он увидел стадо. Коровы! Подошел ближе, понял — это не коровы, а олени. Остромордые, приземистые. Но рога... Нет, рога как раз бывают у коров, коз, баранов. То, что возвышалось над головой у оленя, иначе чем коропа не назовешь.

Олени умилили Грибанова. Он расчехлил аппарат. Стал быстро снимать оленей и пастуха на заднем плане. Потом спросил:

— Мне нужно в город. Я не заблудился?

— Ты идешь в противоположную сторону, — ответил пастух. — Триста метров назад давай топай. Поворот возле моста.

Пастух был стар. И трубка у него в зубах не уступала ему годами... Вот бы сюда солнышко. Какой портрет мог получиться. Грибанов с досадой посмотрел на небо.

За поворотом колдобил снег мотоцикл с коляской. Двум людям в зеленых водоотталкивающих куртках с капюшонами (Грибанов видел их со спины) следовало бы слезть с мотоцикла и старым, но безотказным способом вытолкнуть забуксовавшую машину на взгорок. Они же вели себя так, — точно первый раз сидели на мотоцикле. И грязный снег летел из-под колес. И густо пахло бензином.

В коляске улыбалась девушка. Может, ей нравилось, что машина не подчиняется ее спутнику. И она шутливо размахивала руками, приговаривая:

— Раз, два, три, взяли!

Грибанову пришло в голову, что он видел ее раньше. Однако девушка была настолько молода, что он не мог ее встречать даже три-четыре года назад.

— Где вы вставляли зубы? — неожиданно спросила она.

Значит, он уже открывал рот. Поздоровался.

— Вы бы спросили, где я их потерял, — не очень приветливо ответил Грибанов.

— Нет. Я серьезно. Меня зовут Агнесса Крас. Я работаю здесь зубным техником.

— Северу повезло, — сказал Грибанов.

— Вы, разумеется, из Африки, — догадалась девушка.

Мужчина слез с мотоцикла. Предложил:

— Товарищ подполковник, если поможете вытолкнуть этого упрянца, я подвезу вас прямо до гостиницы. Чемодан передайте Агнесе.

Чемодан был легкий. Грибанов протянул его девушке, но она неловко приняла чемодан. И выронила.

— Ах! — досада в возгласе. Всплеск руками.

И опять нелепая, как чертовщина, мысль:

— Вы, конечно, не были в Таллине в сорок втором году?

— Я родилась в сорок шестом.

— Простите... Но у вас эстонская фамилия.

— Я эстонка. Родилась в Таллине третьего августа тысяча девятьсот сорок шестого года. Хорошо это или плохо?

— Вы напрашиваетесь на комплимент.

Они вытолкнули мотоцикл. Грибанову предложили место сзади, а чемодан его лежал поперек коляски, в которой сидела Агнесса Крас. И когда Грибанов смотрел направо, то видел профиль девушки и капюшон, покрывающий ее голову.

— Я не ошибаюсь? Вы из газеты? — не поворачиваясь, спросила Агнесса. Она, вероятно, чувствовала, что он глядит в ее сторону.

— Из журнала.

— Первый раз вижу живого журналиста, — теперь Агнесса повернула голову.

— Смеетесь?

— Честно.

Когда проезжали мимо белого пятиэтажного дома, недостроенного, с бочками извести в подъездах и цементом, рассыпанным во дворе, мужчина сказал:

— Если бы вы приехали на месяц или полтора позже, непременно бы поселились в нашей новой гостинице.

— Какая разница! — заметил Грибанов.

— Все же... — неопределенно возразил мужчина.

Старая гостиница, в один этаж, барачного типа, находилась в стороне и несколько выше дороги. Рядом со столовой военторга, рядом с продовольственным и промтоварным магазинами. К гостинице примыкал и книжный ларек.

Мотоцикл подкатил к самому входу. Грибанов взял чемодан, поблагодарил и вежливо попрощался. Но мужчина пожелал познакомиться, протянул руку:

— Санин — прораб.

Представился не просто, а как-то торжественно, словно сказал: «Премьер-министр Угапды» или «Король Эфиопии». И лицо, и руки Санина показались Грибанову слишком упитанными. Сколько же прорабу лет? Тридцать? Кто они? Муж и жена?

В коридоре гостиницы за квадратным столом, застланном чистой, но не новой клеенкой, девочка-первоклашка делала уроки. Приветливая, средних лет женщина вышла навстречу Грибанову. За ее спиной синело

окно, подгущенное светом яркой, не коридорной лампочки, вкрученной, видимо, ради девочки. Женщина остановилась рядом с девочкой, положила руку ей на плечо. И мать, и дочь смотрели на Грибанова. И ему понравились эти люди. Он понял, что в гостинице будет хорошо и уютно.

— Мне бы отдельный номер, — попросил он. — Со мной ценная аппаратура.

Женщина ответила, возвращая журналистский билет:

— У нас большие комнаты. Но вы живите спокойно, я к вам никого не подселю.

Скатерть с широкой коричневой каймой свисала со стола почти до самого пола. С одной стороны — противоположной двери — стола касалась кровать. В комнате были еще кровати. Шесть пустых кроватей под белыми простынями...

Шестеро стояли спинами к стене, безмолвные, измученные. Простирившиеся выше человеческого роста дубовые панели холодили пальцы рук, связанных пеньковыми веревками. И немец, казалось, курил эти пеньковые веревки, потому что табак в его сигарете дымил низкосортный, эрзац-табак, и запах стоял жженных тряпок, паленой щетины и самой обыкновенной горелой пеньки. Бесцветные глаза немца были маленькими, а ресницы и брови над ними — такие белесые, что различить их можно, только тщательно всмотревшись.

Переводчик, худощавый эстонец в белоснежной рубашке, при галстукe, сидел возле столика с телефонами. На соседнем стуле висел его темно-коричневый, из хорошей шерсти пиджак.

Немец подошел к светлой девушке, взял за локти и резко повернул лицом к шестерым мужчинам. Хрипло заговорил по-немецки. Худощавый эстонец в белоснежной рубашке перевел:

— Кто передал тебе пистолет? Смотри внимательно.

Она устало подняла глаза, посмотрела на мятых, небритых мужчин. Отрицательно покачала головой.

— Scheiße! Du bist Scheiße! — прокричал в гнев немец.

Худощавый эстонец не стал переводить. Он был хорошо воспитан.

Фашист с размаху ударил девушку по щеке. Еще раз. Еще... И хотя он злился, но бил ее хладнокровно, как иногда сильные бьют слабых, не рискуя получить сдачи.

Она не пыталась уклониться от ударов. И гордо держала голову на длинной, красивой шее. Лицо ее стало розовым от ударов и блестящим от слез.

Грибанов сделал шаг вперед. И сказал:

— Я!

Стук в дверь и смех с порога. Это смех Агнессы. И Санин за ее спиной — чуточку смущенный.

— Извините за вторжение, — бормочет Санин.

— Ерунда, — возражает Агнесса. — Благодарите за вторжение. Иначе вы здесь завянете от скуки. Мы забираем вас в клуб. Вы увидите там сливки общества. И польский фильм с участием Беаты Тышкевич. Вам нравится такой тип женщин?

— Я не помню эту актрису. Но если вы относитесь к типу Тышкевич, то — да.

— Что я говорила?! — Агнесса гордо посмотрела на Санина.

Она теперь была в темном, с узким белым воротником, пальто. Сапожки на шпильках. Волосы прикрывал пестрый платок.

Грибанов подумал, что в мотоцикле она выглядела моложе и что сейчас ей смело можно дать двадцать три или двадцать четыре года.

Он достал из чемодана бутылку коньяку.

— Ясно, почему вы так перепугались, когда я уронила чемодан.

Добираться до клуба пришлось, прыгая с кочки на кочку, потому что температура к ночи резко повысилась и грязь лежала на дороге, и возле нее, и у заборов, жидкая, ни с чем не сравнимая, чавкающая грязь.

Клуб приближался, большой, весь в огнях, точно океанский корабль. У входа, нанизанный на лампочки, висел щит из прогрунтованного полотна, и синие, скошенные буквы хватали людей за подбородки: «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ПОГИБНЕТ ГОРОД».

А фильм, что шел тогда... Он так и не посмотрел его. Но название. Оно осталось в памяти, будто шрам. Ку-

кольное женское личико с глупой улыбкой. И зазывная надпись: «Mein bestes Mädchen». «Моя лучшая девушка». Превосходная.

Подъезжали машины. Двери кинотеатра открывались и закрывались. На темный тротуар ежесекундно падала полоса света. Сеанс начинался. Тогда Хари подал знак. И они пошли.

В пятом ряду пустовал островок из нескольких мест. В четвертом, третьим с края, сидел немецкий офицер. Немецкие офицеры, во всяком случае в Эстонии, имели привычку отстегивать ремни и вешать их на спинку стула. Вот и этот офицер, коверкая эстонские слова, болтал с длинноволосой женщиной, а позади, закрывая номер кресла, свешивалась кобура пистолета.

Погас свет.

Хари сел за офицером. На экране мелькали кадры военной хроники. Диктор кричал об успехах германской армии, о необыкновенной мудрости фюрера.

Помедлив, Хари подался вперед и начал расстегивать кобуру.

Им было тогда по семнадцать лет. И Грибанову, и Хари, и Юхану — сыну сапожника Петерсона. И это было их первое дело. Настоящее, но неосмотрительное. Верные дела будут потом. А сейчас... На экране рвались бомбы, пикировали самолеты. В зале стоял такой шум, что, казалось, разряди пистолет в спину немца — никто не услышит. Пистолет лежал в кармане плаща Хари. Нужно уходить. Согнувшись, Хари пошел назад и сел на одно из свободных мест. Грибанов и Юхан следили за другом. У них свое задание — на крайний случай. По особому знаку, поданному Хари (он коснется переносицы правой рукой), они должны бросить в зале дымовые шашки. Если же все будет хорошо, то, дождавшись конца хроники, во время пятиминутного антракта ребята уйдут из кинотеатра.

Но хроника не кончилась. Свет вспыхнул внезапно. В проходе стоял офицер, держа в руках пояс с пустой кобурой. Рядом с ним — трое гестаповцев. Один поднял руку и громко сказал:

— Aufstehen!

Крышки кресел захлопали, словно пулеметы. Гестаповцы начали обыск. Работали втроем сразу. Деловито, без суеты. Один, перебирая пальцами, скользил руками

вдоль тела обыскиваемого. Второй выворачивал карманы. Третий осматривал место.

Хари побелел. Кто знает, что за мысли были у него в голове. Может, он немного перепутался. Скорее всего, так оно и было. Но он струхнул не настолько, чтобы достать пистолет и устроить в кинотеатре тир. И, в конце концов, правильно оценил обстановку и решил переправить пистолет к Грибанову или к Юхану. Потому что они стояли первый на ряд, а второй на два ряда впереди Хари. И уже успели во время обыска передать друг другу дымовые шашки. По замыслу они и должны были сидеть все трое в затылок один другому. Билеты были куплены с таким расчетом. Но светлая девушка в белом пальто заняла место Хари. И теперь он стоял где-то в середине шестнадцатого ряда. Между ним и Грибановым было семь человек. Не один из них, может, кроме последней, светлой девушки, не впускал Хари доверия.

Как он решился? Кажется, его подперло время. Грибанов видел, как Хари слегка пнул локтем соседа, что-то шепнул и вложил в его руку пистолет.

Грибанов чуть развернулся. Теперь он мог наблюдать весь путь пистолета.

Первым, локоть к локтю, возле Хари стоял крупный мужчина в бобриковом пальто. Он не изменился в лице, не вздрогнул, покусывая нижнюю губу, спокойно перевел руки за спину. И уже через две-три секунды передал пистолет даме в роскошной шляпе с вуалью. Дама затаила дыхание, но приняла пистолет без видимого удивления. Она взяла его за рукоятку, положив палец на спусковой крючок, и действовала совсем не так осторожно, как мужчина в бобриковом пальто. Она свободно повернулась к соседу с мордочкой хорька и пнула его стволом в брюшко... Грибанов решил, что все пропало.

Хорек стал похож на сову, потому что глаза полезли у него из орбит. Дама с вуалью вздернула подбородок и коротко бросила:

— Дальше.

Короткие, волосатые пальцы Хорька вцепились в ствол, но вместо того чтобы быстро передать пистолет соседу слева, Хорек, силясь глотнуть воздух, секунд пять стоял в неподвижности с открытым ртом. Видимо, он решил, что в зале находится мощная подпольная организация и он оказался маленьким винтиком в рискован-

ных делах. И теперь, если он сделает что-нибудь неправильное, его могут ухлопать как немцы, так и подпольщики.

Сосед слева — бледный и худой ксендз осенил Хорька крестным знамением, сложив ладошки на груди, коснулся ногтями острого, тщательно выбритого подбородка и демонстративно повернулся в другую сторону. На ресницах, которых у Хорька не больше, чем на вилке зубьев, задрожали слезы. Отчаяние придало Хорьку смелости. Он воспользовался уроком, преподанным ему дамой под вуалью. Секунда... И палец лежит на спусковом крючке, ствол тонет в складках одежды ксендза, где-то между вторым и третьим ребром.

Ксендз молчит. Косит взгляд направо. Потом с быстротой молнии хватает пистолет и опускает его в шляпу старичка, стоящего слева.

— Дальше.

Старик как держал шляпу на уровне живота, так и повернулся к соседу — мужчине с рябым лицом. Рябой все видел. Но именно тут и случилась первая заминка. Рябой коснулся шляпы, конечно, он мог бы взять пистолет, черный на белой подкладке. Но он хотел взять его вместе со шляпой. Старик же энергично замотал головой и что-то промывчал. Тонкие пальцы рябого вдруг задрожали. Один глаз заметался, другой... Грибанов понял, что другой глаз у рябого стеклянный.

Гестаповцы приближались.

Нервически дернув локтем, рябой сунул пистолет светлой девушке. Она взяла его, но...

Что было потом?

Вскрик «Ой!». Всплеск руками. И звук упавшего пистолета, будто удар по барабану.

— Halt! Halt!

Под ноги эсэсовцам уже летит граната. Зал вертится волчком. Зал прыгает вправо, влево. Люди падают на пол между рядами. Но взрыва нет. Гранаты оказались дымовыми пашками. И едкий желто-белый дым расплывается по кинотеатру.

Затем кузов автомобиля. Чьи-то спины и локти. Пахнущий духами затылок светлой девушки. И ствол автомата, как шлагбаум.

Коридор гестапо. Удручающе обыденный, как во всяком учреждении. Буфет, туалеты.

Удар между глаз. И все исчезло. Даже не сон, а так... пустота. Боль — первый признак, что ты еще жив. Черная пасть ведра, загораживающая белый свет. Лужа. Можно сказать, плаваешь в луже. Только это еще не кровь. Это вода. Тебя привели в чувство.

Снова допрос...

С Агнессой он танцевал вальс. Третья или четвертая пластинка крутилась на радиоле, с тех пор как окончился фильм, но Грибанов все это время стоял возле стены, и много других мужчин стояло, а девушки танцевали друг с другом, подчеркивая, что им не скучно. Потом Агнесса взяла его за руку:

— Станцуем?

Грибанов посмотрел на Санина. Тот одобрительно кивнул:

— Да, да...

— Он не умеет танцевать вальс, — сказала Агнесса.

— Не научился, — пояснил Санин.

Она танцевала легко. И ее щека была так близко, что разглядеть уже было ничего невозможно. Тогда он смотрел чуть вправо и вниз и видел крупные паркетные клетки и узкий, точно клюв, носок ее сапожка.

— Как вы сюда попали? — спросил он.

— Это скучно. По направлению... Скажите лучше, вы жепаты?

— Я похож на семейного человека? — он уклонился от ответа.

— У вас интересная жизнь, — сказала она.

— Да.

И никаких уточнений. А что они дадут? Ночь ли, день. Зима ли, лето. Командировки, учения... Грибанов, даже уволившись в запас, не расстался с военной формой. Привык? Не только... Словно талисман, форма оберегала его. И он верил и знал: пока они вместе — ничто не согнет его — ни ветры, ни годы, ни болезни. Продрогший и промокший, он по десять часов бегал в цепи наступающих солдат, лежал в залитых водой окопах, прыгал с парашютом. И все ради того, чтобы сделать снимок, черно-белый динамичный снимок, который пойдет на обложку. А может, и на выставку... И главный редактор, обозревая разложенные на большом столе крупные сним-

ки, улыбнется и скажет: «Молодец, Грибанов!» Но бывает и так, что глаза у полковника потускнеют, лицо станет чужим, а голос металлическим: «Схалтурил, дружок».

— Зачем вы сюда приехали? — Агнесса отодвинулась.

— За девушкой.

Агнесса не поверила. Она не возразила, не улыбнулась, не покачала головой. Но он понял, что не поверила.

— Как не дик мой ответ, но это правда.

— И сколько этой девушке лет?

— Семнадцать или восемнадцать.

— Она красивая?

— Непременное условие. Иначе мне несдобровать. Она должна быть такой же красивой, как вы или Беата Тышкевич. И ко всему этому — незамужней.

— Не знаю, как Беату, но меня последнее условие не пугает.

— Вы живете одна?

— С мамой.

— Вам пришлось привезти сюда маму. Похоже, вы решили обосноваться здесь надолго.

— Она очень больна. Врачи говорили, что перемена места жительства может пойти ей на пользу.

— Ваш отец жив?

— В сорок седьмом году он был убит националистами. Я не помню его. Они бросили гранату прямо в комнату. Отец стоял возле моей кровати. Получилось, что он прикрыл меня.

В автобусе без окон их было десять узников. Он не знал, откуда взялись еще четверо. Они уже стонали, когда привели Грибанова и еще пятерых. Хмурые эсэсовцы с автоматами на коленях сидели возле дверей, будто идола. Никто не понимал твердо, куда их везут и с какой целью, но, видимо, многие полагали, что это последняя дорога, последний путь, последняя неизвестность, быть может, и не самая страшная из тех, что выпадали у некоторых на веку, но последняя...

Еще во дворе гестапо, темном, покинутом луной и фонарями, Грибанов заметил: светлую девушку втолкнули в автобус одной из первых. Он догадывался, что в

углу белело ее пальто. Теперь вовсе не такое белоснежное, как тогда, в кинотеатре, но все равно оно было вызывающе светлым, как луч, как солнечный зайчик.

...Остановились. Свет в машине погас. Там, за стенами, говорили по-немецки. Кто-то постучал в дверь. Эсэсовец отодвинул задвижку. Хватка у фонаря акуля. По очереди глотает каждого, вытаскивая из темноты, словно из сети. А свежесть прокрадывается в машину. Обыкновенная почная свежесть. И сердце стучит увереннее, будто часы, у которых подтянули гирьку.

Эсэсовцы вылезли из автобуса. Опять тихий разговор по-немецки. Потом кто-то громко вздохнул, будто потянулся спросонья. Глухой стук падающего тела.

Голос из темноты:

— Товарищи, вы свободны. Выходите без шума. И по одному. Товарищ Крас, вы здесь?

Они выпрыгивали из автобуса, и тут же большой и ловкий мужчина разрезал веревки, спутывающие им руки.

Потом была темнота. И дорога. Вернее, клочок дороги, мельтешащей под ногами. И старческий голос... Который все твердил, что нужно прибавить шаг и добраться до места, пока не вышла луна.

Освобожденных разделили на две группы. Повели в разные стороны. Грибанов не знал, с кем в группу он попал. Светлая девушка была здесь. Она шла самой последней. И он оглядывался через три-четыре шага, боясь, что она отстанет и собьется с пути в этой крошечной тьме.

Она не вскрикнула, когда подвернула ногу. Грибанов просто обернулся и не увидел ее, и что-то оборвалось в нем, как в тот момент, когда она уронила пистолет. Темнота была разлита так густо, что, если бы не белое пальто девушки, неизвестно, как бы он и нашел ее. А может, не пальто тому причиной, может, свет? Она казалась насквозь пронизанной светом.

— Обессилели? — спросил Грибанов.

— Я, видимо, вывихнула ногу. — Это были первые ее слова, услышанные им.

Он взял девушку на руки. Она благодарно обхватила его шею. И дышала близко. И щека Грибанова стала теплой от ее дыхания. Но дорога теперь вроде бы обрядилась ухабами. И не ложилась послушно под ноги, как прежде.

— Что случилось? — спросил немолодой человек, возглавлявший группу.

— Нога.

— Помочь?

— Я сам.

Грибанов старался сдерживать дыхание, чтобы не показать, как он устал.

Утром, сиюсь определить, какое же в гостинице напряжение, Грибанов долго рассматривал электрическую лампочку, свисавшую с потолка на забеленном мелом шнуре. Однако горничные, очевидно, ежедневно протирали и окна, и скромную мебель, и лампочку, поэтому фабричное клеймо исчезло. Грибанов, страховки ради, переключил бритву на 220 вольт. И угадал. Мотор работал нормально.

Диктор мурманского радио с воодушевлением читал: «Вниманию семей моряков! Передаем объявление о приходе в порт судов.

Траловый флот:

РТ-10 прибывает в 8 часов.

РТ-56 прибывает в 14 часов.

РТ-16 прибывает в 14 часов 30 минут.

Сельдяной флот:

Танкер «Урал» прибывает в 10 часов...»

Пахнуло коридорной сыростью. Грибанов увидел распахнутую дверь и улыбающегося на пороге Санина. Сегодня он был в пальто из итальянского букле, несколько длинноватом, если подходить к нему с меркой последней моды.

Санин пожелал доброго утра, спросил о самочувствии, предложил вместе позавтракать и добавил, что будет рад оказаться полезным Грибанову, так как знает многих бывалых людей Севера, людей отважных, честных, деловых.

— Наш журнал военный, — объяснял Грибанов, когда они шли к столовой жидкой, но прямой тропкой. — Наши читатели — солдаты, старшины, сержанты — люди молодые. Мы даем много материала о боевой подготовке, о героике. А с середины этого года решили знакомить воинов с их ровесницами. Ну, девчонками, работающими на производстве, в колхозе... Со студентками.

— Интересно, — согласился Санин.

— Мы ввели рубрику «Твои ровесницы». Как правило, даем полосный цветной снимок. Два-три снимка маленьких, черно-белых. И короткий текст. Это оживляет журнал.

— И вы рассчитываете найти у нас красавицу на полосный цветной снимок? — Санин не скрывал удивления. — Разве в Москве...

— Мы всесоюзный журнал. Нам важна география.

— Понимаю. Но вы бы не приехали сюда искать пальмы?

— Однако вы нашли здесь Агнессу.

— Я нашел... — нерадостно согласился Санин.

— Почему так несчастно?

— А... — Санин махнул рукой. Потом остановился на узкой тропке, повернулся лицом к Грибанову и строго спросил: — Вы бы женились на женщине, у которой есть ребенок?

— У Агнессы ребенок? — Грибанов полез за папиросами, хотя курить натошак было не в его правилах.

— Хуже.

Санин повернулся. И продолжал путь. Возле столовой, обшитой посиневшими досками, уже была расчищена площадка. Мужчины пошли рядом. Санин сказал:

— У нее больная мать. Какая-то форма психического расстройства. Если не путаю, шизоидная психопатия... В годы войны она была где-то в Эстонии, в подполье. Ее пытали немцы.

— Сколько ей лет?

— Трудно сказать. По внешнему виду все семьдесят. На самом же деле гораздо меньше. В период оккупации она была молодой девушкой.

— Как ее зовут?

— Вали Карловна.

— Санин! — Грибанов остановился, положил руку ему на плечо. — Сделайте для меня одолжение: разыщите Агнессу и скажите, что мне обязательно нужно увидеть ее мать.

— Это вы зря, — рассудительно ответил Санин. — Может, никакого подполья и не было. Старуха все по глупости придумала.

Грибанов повторил свою просьбу.

Железная дорога, на высокой из желтого песка насыпи, плелась вдоль главной, в общем-то единственной улицы города, где в большом отдалении, словно островки в океане, были разбросаны домики барачного типа. И только возле самой станции скопились дома покрупнее, в несколько этажей. В одном из таких домов размещался продовольственный магазин. В горсовете Грибанову сказали, что здесь работают три девочки, две из них очень миловидные. Их фотографии вполне могут порадовать сердце армейского читателя. Судя по вывеске, обеденный перерыв кончился минут двадцать назад, но двери сторожил большой замок. А местные жители, с терпением завязтых рыболовов выстаивавшие возле магазина, объяснили незадачливому москвичу, что здесь так принято — продавщицы вовремя никогда не возвращаются.

Грибанов разозлился и ушел.

Небо дремало над крышами. Тусклое, лохматое. И Грибанов не очень верил ему. Потому что в первой половине дня уже лил дождь. И смысл остатки снега. Грибанову было ясно, дождь может заморосить с секунды на секунду. А путь до гостиницы не близок.

У стоматологической поликлиники его окликнула Агнесса. Она была в белом халате. И он очень освежал ее. Грибанов сделал два или три снимка, хотя не был уверен, что они пойдут в журнал.

— Санин говорил, что у вас было желание увидеть мою мать.

— Оно осталось.

— Если вы намерены просить у нее моей руки, — пошутила Агнесса, — то это обветшавшая формальность.

— Я не старомодеи, — в тон ей ответил Грибанов.

Он пришел к ним вечером.

Женщина возилась с лоскутом материи в желто-голубых клетках. Седоватые волосы ее касались черного корпуса ручной машинки с отколотой эмалью и потертой золотой надписью: «Singer». Женщина не подвняла головы и продолжала ловко пронизывать ткань булавками, доставая их из бумажного пакета. Глянцевитая бумага пакета была потерта, сильно потерта, кажется, и пакетом, и булавками здесь пользовались не впервые.

Агнесса сказала:

— Мама, к тебе подполковник.

На секунду или две женщина сощурила глаза. Резко

откинула голову назад, словно для того, чтобы лучше рассмотреть гостя. Часы на стене тикали. И шея женщины белела, как рука, вынутая из перчатки. Но морщинок на шее было больше, чем на руке. И женщина вспомнила об этом. Опустила подбородок. И мягко сказала:

— Теге¹.

— Теге.

Он уже держался за спинку стула. Она сделала жест рукой, быстрый и обходительный, дескать, присаживайтесь. Он не приподнял стул, а потащил на себя. И неприятный скрип вдруг смутил его. И он посмотрел на женщину чуть виновато.

Ей было сорок. Нет, конечно, больше сорока. Он никогда не умел точно определять возраст.

— Вы непохожи на эстонца, — сказала женщина.

— Мой отец был русский.

— Тебе сколько лет? — спросила светлая девушка.

— Семнадцать.

Он подумал, что неприлично интересоваться возрастом девушки, но она сама сказала:

— А я уже старая. Скоро исполнится девятнадцать.

Пауза. По дороге проехала машина.

Девушка сказала:

— Мне попался какой-то шар.

Грибанов протянул руку:

— Это глобус.

— Я знаю.

Пальцы сплелись с пальцами. И щека опять совсем-совсем стала близко. И дыхание...

— Не догадываешься, куда нас запер старик? — торопливо говорит он.

— Ты нес меня мимо школы.

— Это кладовка со школьным инвентарем.

Он страшится долгого молчания. Ему только семнадцать, и он никогда не сидел вот так, в темной кладовке, наедине с девушкой. А рассвет прохладный. Осенний. И светлой девушке холодно. Светлая девушка ежится. И Грибанов обнимает ее за плечи. Он думает, о чем бы еще спросить. Только бы не молчать.

¹ Здравствуйте (эстон.).

— Интересно, куда увели остальных?

Ясно. В другие дома, сараи, подвалы, — ответит девушка. Но она говорит совсем другое:

— Поцелуй меня в губы.

Оконце под крышей светлеет, точно доска, исписанная мелом.

— Скажи свое имя, — просит он.

— Вали... Нравится?

— Да... Они тебя сильно били?

— Нет. Кажется, нет... А почему ты не целуешь?..

Агнесса с тревогой глядела на мать и на Грибанова. Грибанов прижимал клеенку пальцами и смотрел на них.

— Утром старый учитель увел меня к рыбакам. Позже я узнал, что вместе с нами был задержан настоящий подпольщик. Потому нас и вызволили из застенка... Позднее я воевал, был ранен, дошел до Вены. Но все сложилось так, что я больше никогда не встречал Вали и ничего о ней не слышал.

Женщина молчала. Она словно забыла о нем и, подвинув к себе бумажный пакет, брала булавки и прокалывала материю. Агнесса нетерпеливо ерзала на стуле. Уж как-то очень навязчиво тикали часы.

— Все это очень похоже, — грустно сказала женщина. — Но я никогда не жила в Таллине. При немцах я была в Пярну связной между подпольем и партизанами. Меня тоже пытали... А сейчас, простите... Болит голова.

Кажется, у нее была заготовлена первая фраза. А может быть, она твердила ее сегодня утром, и по дороге к нему, и вчера вечером. Или она придумала эту первую фразу еще тогда, у мотоцикла, когда уронила его чемодан, всплеснула ладошками и посмотрела так, будто они были знакомы двадцать лет, и он вопреки логике и рассудку спросил, не жила ли она в Таллине в тысяча девятьсот сорок втором году.

Но она постучала в дверь и сказала:

— Можно?

А он ответил:

— Нет.

Потому что в это время заряжал кассету, стоя перед кроватью на коленях, руки его прятались под одеялом, и холодная пленка скользила между пальцами.

Агнессе пришлось ждать за дверью две минуты. И когда она вошла в комнату, то первая фраза уже была неуместна. А без этой фразы она не знала, с чего начать.

Может, она должна была открыть дверь и сказать, как выдохнуть:

— Я пришла.

Но теперь, когда она две или три минуты торчала возле порога, говорить это было бессмысленно.

— Я увидела у вас свет. И зашла.

Ложь была наивной, словно детский рисунок. Агнесса догадалась об этом, лишь произнесла последнее слово. Естественно, Грибанов заряжал кассету в темноте. И щелкнул выключателем, уже открывая дверь.

— Завтра уезжаю, — сказал он.

— Как?! Совсем? И вы больше никогда не приедете сюда? — спросила она печально.

— Прикажут, приеду!

— Если я прикажу?

— Вы не прикажете, Агнесса. Это вам просто сегодня так кажется.

— Я не видела вас два дня. Я раньше не знала, что два дня это много.

— Мне нужно было выехать из города.

— И вы нашли то, что искали?

— Так бывает всегда... И вы найдете.

Она расстегнула пальто. Он помог снять его. И повесил на вешалку. Пестрый платок повис на спинке кровати, а сама Агнесса села на кровать, коснувшись плечами стены. Смотрела на Грибанова пристально и очень серьезно, будто что-то взвешивала, что-то решала чрезвычайно важное для себя. Он не сел рядом с ней, а остался стоять возле стола, где без всякого порядка лежали объективы, пленки, фотоаппараты.

И ему не понравилось. Его покорило, как от фальшивой ноты, когда она вдруг капризно сказала:

— Я хочу, чтобы вы подошли ближе.

Нет, нет. Будем надеяться, это была не та, первая фраза. Первая фраза представлялась ему красивой, как сама Агнесса. Он сказал:

— Не надо.

И тут же сам оплошал. Произнес вяло, без гордости:

— У меня дочь перешла в девятый класс.

Агнесса смежила ресницы.

— Можете считать, что вы меня очень обрадовали.

В коридоре захныкала маленькая девочка:

— Мама, я посадила кляксу.

Зашлепали шаги. Женщина певуче заметила:

— Пальчики у тебя непослушные.

Через минуту он уже сказал ей «ты», ибо, несмотря на то что он как вкопанный стоял возле стола, а она сидела на его смятом одеяле, между ними уже случилось что-то. Оттолкнувшее, сблизившее? Видимо, сблизившее, потому что он спросил:

— Ты любишь Санина?

— Здесь больше никого нет. — Голос у нее был не звонкий, а глухой. И Грибанов теперь не был уверен, что она красивая.

— Он делал предложение?

— Я не выйду за него замуж. Я тоже хочу много счастья. Я имею право?

— Имеешь... Только оно... — Грибанов мучительно трудно подыскивал слова, — словно сердце... Его не дашь взаимы, если даже очень хочешь.

Ему снились снежные вершины: голубые, с яркими переливами и пятнами светлых облаков набекрень. Ему снилось, что он летел над ними. А вернее, парил в крутом воздухе, раскинув руки, словно паруса. И был ветер, пахнущий морем, но моря не было видно. А шум, который он слышал, глухой и раскатистый шум доносился снизу, рождаемый ручьями. Они сползали вниз гибкими, искрящимися нитками, нежные-нежные, но шумели, как море.

Ему снилась Агнесса в заиндевелом, словно окно, платке, закрывающем и подбородок, и рот, и нос. Только одни глаза, большущие и ясные, глядели в объектив грибановского «Зенита». Грибанов знал, что назовет этот снимок «20 градусов ниже нуля». Что снимок выйдет отличным и что его запросто возьмет «Смена», а может, и «Огонек», может, и «Советская женщина». Грибанов

обязательно напишет короткий текст, укажет имя и фамилию девушки. И совершенно точно, к Агнессе придут сотни писем от хороших парней. И тогда она не станет встречаться с Саниным, потому что «здесь больше никого нет».

Ему снилось железнодорожное полотно, длинное и желтое. Перрон. Человек в тулупе, толкающий тележку с посылками. Зеленые вагоны, треугольные номера над входом... И всю ночь, как тогда наяву, он слышал последние слова Агнессы:

— Но почему же она сказала, что никогда не жила в Таллине? Ведь у меня в паспорте записано совсем другое. Я родилась в Таллине. А в Пярну мы переехали после того, как погиб отец...

И ему так хотелось ответить:

— Ты читала Горького, Агнесса... Помнишь: «А был ли мальчик? Может, мальчика и не было?»





ВОСХОД В ПЯТЬ Сорок

Землянка вгрызалась не глубоко. Потому что лопаты только надкусывали эту твердую, как скала, землю. А время ошалело. И пелось диким наметом. Семеро бойцов три с половиной часа не выпускали из рук черенки. И даже не курили — приказ поступил строгий: землянку для командира полка закончить к 17.00.

В назначенное время пришел майор — командир полка — и с ним две девочки-радистки. Обе круглолицые, рыжеватые, очень похожие одна на другую, возможно сестры. Потом явились адъютант и несколько красноармейцев. Они принесли ящики, мешки, раскладные стулья. Связисты с тяжелыми катушками стали тянуть линии на позиции батальонов.

КП спрятался близ вершины горы, справа, где густо росли вечнозеленые фисташки и можжевельник, игло-видные листья которого застилали землю, и она была мягкой, как манеж, и пахла хвоей. Метров на тридцать ниже, на тыльном, невидимом врагу склоне, между каменной выступал родник. Он падал вниз с высоты человеческого роста в круглую каменную чашу, такую большую, что в ней могла уместиться машина. Родниковая

вода, как обычно, плескалась холодная и чистая. И конечно же, очень вкусная.

Противник окопался за лощиной, прикрытой ксерофильным редколесьем. Передний край немцев чернел на юго-западных скатах, пологих, лысых, и лишь самый левый фланг был прикрыт низким и жестким кустарником. Данные разведки говорили, что на этом коротком участке немцы сосредоточили 72-й пехотный полк, 10-й велоэскадрон и 500-й штрафной батальон.

Солнце отступало. И темнота опускалась на землю плавно, словно на парашюте. Тяжелая туча низко замерла над горой. Из лощины не тянуло ветром. И командир полка с печалью подумал, что к ночи соберется дождь.

Адъютант притащил термос с кашей. И девчонки-радистки Галя и Тамара из Новороссийска, которые не доводились сестрами, но действительно были очень похожими, сели ужинать. На столе, сложенном из ящиков, лежала клеенка, новенькая, красно-белая, гордость девчонок, и чадила коптилка — сплюснутая гильза артиллерийского снаряда и огненный фитилек над ней, как гребень.

Девчонки были красивые. И пудрились, и подкрашивали губы. И не принимались за еду, не помыв рук. Но майор, который уже третью неделю спал по два часа в сутки, был равнодушен к «подвигам» девчонок и, что совсем непростительно мужчине, забывал порадовать их, хотя бы иногда, комплиментами.

Вот почему радистки завизжали от восторга, когда на пороге землянки появился полковник Гонцов — из штаба дивизии. Худощавый, с красивыми глазами, он снял каску, бросил ее в угол. Распахнул плащ-палатку и вытащил откуда-то две большие розовобокие груши. Он протянул груши девчонкам и, здороваясь, поцеловал ручки. Майор, который, как и полагалось при появлении старшего начальника, стоял по стойке «смирно», вдруг обратил внимание на разбурлявшихся радисток и удивился, словно только сейчас понял, что они женщины.

— Завидую тебе, Журавлев, — вздохнул полковник Гонцов. — Умешь устраиваться. Ведь эти два ангелохраниителя любую землянку на дворец похожей сделают.

Майор Журавлев, на которого и в лучшие годы женская красота чаще всего навевала скуку, равнодушно пожал плечами.

Ангелы-хранители кусали груши, и сок блестел у них на губах.

Адьютапт Ваня Иноземцев сказал:

— Вот сейчас постельку майору способим. Тогда у нас и полный порядок станет.

— Можешь не торопиться, — ответил полковник Гонцов. — Я приехал с радиомашинной... — И многозначительно добавил: — Будем фрицев развлекать.

Гудит в небе самолет. Высоко гудит. А небо тучами заштукатурено — ни звездочки, ни луны. И прохлады нет. Просто сырость. Подворотничок к шее липнет, словно смазанный. Неприятно.

Радистка Галя сидит на бревне у входа в землянку. Но вход завешан палаткой. И нет никакого входа. Темнота — только неподвижные деревья да силуэт часового между ними. Часовой ходит. И шаги его слышны. И радистке не так одиноко. Галя три месяца назад стала радисткой. А вообще она учительница. Самым маленьким дорогу в жизнь открывает. «Здравствуйте, дети! Вот и наступил тот час, когда вы стали школьниками».

Где сейчас ее ученики?

Мать с сестренкой в Ташкенте, отец воюет на Балтике. А она вот здесь, северо-восточнее Туапсе.

Немцы повесили ракету. Ее не было видно отсюда, потому что вершина горы прикрывала большую часть неба, однако макушки деревьев заблестели и тени побежали по лощине — ничейной земле, пристрелянной по квадратам и с той, и с другой стороны.

Иноземцев вышел из землянки, когда ракета догорала.

— Убери лапы, — сказала Галя, — противно.

— Ты говоришь так, будто я не мужчина.

Иноземцев был роста невысокого, узколобый, с маленьким носом и маленькими глазками, но губы у него краснели очень сочные, и, если бы не брюшко, он мог бы быть вполне сносным на внешний вид. Но брюшко (в его-то годы и в таких условиях!) придавало ему сходство с комедийным персонажем. И Тамара, насмешница, иногда озабоченно спрашивала:

— Ваня, а Ваня, ты случайно не в положении?

Ваня вскипал, словно чайник, только пилотка на нем подскакивала, как крышка, и говорил:

— Ума нет — считай, калека.

— Поделится бы, — поддерживала подругу Галя.

— И точно, — не унималась Тамара, — смотри, какой у него лоб высокий. Сократовский.

Ваня — человек от земли, он чувствовал, что эти девчонки посмеиваются над ним беззлобно, и то лишь потому, что не признают его красоты, не подозревают о его мужской силе. Но иногда, может, от усталости он срывался и психовал:

— Я не обезьяна. Я, может, про тебя больше знаю. А за сократовский лоб перед командиром отчитаешься.

Однако эти маленькие стычки происходили исключительно в отсутствие майора Журавлева, которого одинаково боялись и уважали и адъютант, и радистки.

Сейчас Галя сказала миролюбиво:

— Если ты мужчина, Ваня, то сбегай лучше за водой. Душно, гимнастерка к лопаткам прилипает.

Гремя ведрами, Иноземцев пробурчал без злобы:

— Ваня — лошадь водовозная.

Галя поднялась, отряхнула юбку. Нащупав ногою ступеньку, вошла в землянку.

Полковник Гонцов и майор Журавлев склонились над картой.

— Словом, метров сто пятьдесят придется по-пластунски. А до этой дороги, — Гонцов ткнул карандашом в карту, — парами, на носилках.

Тамара сидела в наушниках, держала пальцами микрофон и тихо говорила:

— «Индус», я — «Чайка». Я — «Чайка». «Индус»; как слышите меня? Прием.

Развязав вещевой мешок, Галя вынула свежее полотенце и мыльницу. Тамара посмотрела завистливо.

— Операцию начнем в двадцать три часа. Спрашивай, если что не ясно, — полковник Гонцов выпрямился.

— Фонарики. Я думаю, необходимо всех обеспечить фонариками.

— Башковитый ты, Журавлев. Верно, я забыл сказать... Десяносто фонариков приготовлены...

Галя вышла из землянки.

— Это ты, Иван?

Иноземцев поставил ведро. Сделал глубокий выдох:

— Ну и темнота.

— А теперь закрой глаза. И польешь мне из кружки.

— Я это сделаю лучше, Галя, — сказал полковник Гонцов, выйдя из землянки.

— Нет, нет, — поспешно возразила радистка. — Я вас стесняюсь.

— И почему я не адъютант, — пожалел полковник.

Журавлев сказал Иноземцеву:

— Если что... я на позиции первого батальона.

— Слушаюсь, товарищ майор.

Офицеры ушли. Хвоя скрадывала шаги.

— Ты закрыл глаза?

— И так ни черта не видно.

Галя повернулась к нему спиной. Стянула через голову гимнастерку. Поколебавшись чуть, расстегнула лифчик и бросила его на бревно, где уже лежали полотенце и гимнастерка. Наклонилась и сказала:

— Поливай. Только не мочи волосы.

Иноземцев, сопя, черпал воду из ведра, и вода стекала по гладким плечам и по спине. А когда он нагибался за водой, то видел груди, потому что глаза его привыкли к темноте, а белое различалось хорошо.

Радистка мылилась. И фыркала, и попискивала, как маленький ребенок. Немцы вновь повесили ракету. Но Галя не спросила, зажмурился ли он. Она была уверена, что нет. Но ей было все равно, она его не стеснялась.

А Иноземцев между тем перевел взгляд в сторону, глядел на плащ-палатку, свисавшую над входом в землянку. И сожалел, что он, Иноземцев, не полковник Гонцов.

Ракета погасла. И Галя, растирая спину полотенцем, сказала:

— Теперь, Ваня, уходи. Я буду мыть ноги.

Иноземцев без возражений поплелся в землянку.

Тамара сняла наушники. Попросила:

— Позови Галю.

— Она банится. — Иноземцев опустил на нары.

— Счастливая! Ванюша, принес бы ты еще воды.

А Галя меня у аппаратуры подменит.

— Ладно, — сказал Ваня. — Только не вытерпел: — А честно сказать, лучше в окопах с ребятами, под пулями... Чем вашему полу прислуживать.

— Не догадываюсь, за что ты тут портки протираешь, — сказал Слива, обращаясь к сутулому, немолодому бойцу с интеллигентной внешностью. — А мы с Чугунковым здесь — чисто по недоразумению.

Чугунков, огромный мужчина — сапоги удивительного размера, — шевельнул вытянутой ногой и рывкнул густым басом:

— Справедливо отмечено.

Слива продолжал:

— У нас все, как в сказке, случилось: чем дальше, тем страшнее... Ты загляни в наши биографии. Антон (Слива — с завсда «Красный металлист»). Да знаешь, какой я токарь! Мне цены не было. Бронь на заводе положили. Только я на фронт пожелал. Гансов бить.

— Вот и бьешь, — вставил Жора, бывший шофер.

Вздыхнул Слива сожалеючи. Кисет вынул.

— И что я все о себе. Вы на Чугункова посмотрите. Образованный человек, восемь месяцев в техникуме учился... А что случилось? Идем лесом. Мычит корова. Живых людей поблизости нет. Думаем, жалко, пропадет скотина. А еще хуже — забредет к фашистам. Им достанется! Изжарили. И поесть толком не поели, как хозяйка объявилась.

Образованный Чугунков вспомнил:

— Тысяча и одна ночь...

Слива одобрительно кивнул:

— Ну... И пять лет. С заменой на штрафную роту.

Послунывил бумажку: самокрутка готова. Закурил. И стал прилаживать полозья, выструтанные из молодого граба.

— Не пойму, — сказал Чугунков, — зачем нас заставили делать эти санки.

Слива предположил:

— Может, раненых вытаскивать.

Бывший шофер Жора не без логики заметил:

— Штрафная рота — это тебе не санитарный батальон.

— Тут дело серьезное, — сказал боец с интеллигентной внешностью. — Я сам видел. В роту целый ящик ручных фонариков принесли. Старшина получал.

— Смотри, — кивнул Слива, который был хрупок и тощ, — доступ к старшине имеет. Уж точно, в писаря тщится выйти.

— Ерундишь, — сказал Жора. — Он лейтенантом был. Командиром батареи. Только вот в Кубани два орудия без нужды утопил.

— Ясно. Тогда все ясно, — согласился Слива.

— Ничего вам, товарищи, не ясно, — интеллигентный штрафник положил топор и поднялся во весь рост. Ему было около пятидесяти, и выглядел он очень усталым. — До войны я был архивариусом при народном суде.

Чугунцов присвистнул:

— Судья... Ну и дела...

— Я вас прошу, не ругайтесь, молодой человек. Мат — продукт варварства и дикости, — архивариус взял свои санки, еще не законченные, и переместился несколько поодаль.

Укрытая рощей каштана, среди которого, однако, попадались деревья хмелеграба и лавровишни, перевитые лианами, рота занималась делом, казавшимся штрафникам странным. Однако приказ был ясен и лаконичен — на каждого человека изготовить одни санки.

— В этих местах и снег выпадает в январе — феврале. Да и то на две недели.

— Сдается мне, что салазки раньше потребуются.

— Тоже правда. Спешку зря пороть не стали бы.

День уходил. Но солнце еще смотрело между гор. И в лесу было сыро и душно. Комары с тонкими, как иголки, крыльями беззвучно кружились в воздухе. Поблескивала паутина. Ее было много — и на кустах, и между деревьями...

— Вот бы у паука терпения подзанять, — пожелал бывший шофер Жора.

— Нашел кому завидовать, — возразил Слива.

— Я не завидую. Я бы в долг.

— Долги отдавать, не пировать. Расскажи лучше, за что попал?

— Я не попал. Я влип. Налетел по пьяной лавочке на каток. Машину разбил. А на морде ни одной царапины.

— Пустой ехал?

— Патроны вез.

И Жора разочарованно вздохнул. Нет. Он не раскидал так, как, например, архивариус, утопивший пушки, и полагал в первом же серьезном деле отличиться по-настоящему: или героически погибнуть, или смыть пятно.

Когда он думал о серьезном деле, то понятию этому придавал несколько углубленный смысл, потому что уже сама борьба с пашествием была делом серьезным. Но как, допустим, в машине наряду с первой скоростью есть и третья, так и на фронте — одно серьезное дело другому не равня. И если ты сидишь в обороне и шанс остаться в живых или умереть колеблется — пятьдесят на пятьдесят. То случаются и такие дела, когда цифровое соотношение бывает до жути страшным: девятью девятью против одного. Одного-единственного шанса выжить. И если штрафная рота попала в такое дело и с честью выполнила его, тогда всем — и живым, и мертвым — прощаются провинности, ибо произошло самое чистое искупление — через смерть.

Интервалы между шеренгами были больше обычного. Каждый нес санки. И они торчали над касками, словно рога. Широкая спина Чугункова раскачивалась перед Жорой, будто телега на ухабах. И скатка очень походила на хомут. Это сравнение лезло в голову, и бывший шофер злился — такая же скатка, может только меньше потерявшая, ехала и на нем; но правды ради не следовало забывать, что именно на скатке лежали санки и полозье не резало плечо.

Чугунков шел твердо и размашисто. Мелкий Слива едва поспевал за ним, мельтеша короткими, как обрубки, ногами. Отставать было нельзя. Дорога в гору карабкалась узкая. Глина, песчаник. И рота двигалась по двое, растянувшись точно оброненный клубок.

Все молчали. Даже Слива не болтал языком... Лицо архивариуса было мокрым от пота. И он глядел вниз, где камни шевелились под ногами, иногда скатывались с дороги и шуршали в цепком кустарнике, словно змеи. Гора, разворачиваясь, отступала назад. Но впереди вырастала новая. А за ней в расплывчатой дымке темнели другие вершины, лобастые и суровые.

Жора обожал дороги. Ему редко приходилось одолевать их пешком, но, сидя за баранкой, он смотрел в ветровое стекло, словно на экран, не задумываясь над тем, что видит, и не запоминая отдельных красот. Он воспринимал все сразу, как подарок.

Когда повернули за гору, спрятались от солнца. Идти стало легче. Слива вполголоса запел:

Саша, ты помнишь наши встречи
В приморском парке на берегу?..

А кто не помнит? Девчонка — это тебе не геометрия. По геометрии у Жоры всегда плохо было. Из-за нее он, можно сказать, школу бросил. С восьмого класса шоферить пошел. Осенью любовь случилась. Кажется, с первого взгляда. А может, и не с первого... Получил оп аванс, в клуб пришел на вечер отдыха молодежи. Выпивши, конечно, пришел. Танцы там, веселье. Жаль, танцевать Жора не умеет, а веселье с ребятами какое, папирсы да треп. Дождался конца танцев. Девчонки выходят. Смешком брякнул:

— Девочки, возьмите нас в провожатые. Иначе заблудитесь.

Одна не растерялась:

— Спасибо за заботу, только дорога к нам грязная.

— Ничего. Мы на резиновом ходу.

— Раз так. Нам не жалко.

Лицом миленькая, но обыкновенная. А со спины как увидел... Да что говорить? Тоненькая, словно тростинка, а бедра! Бедра, как буква «Ф». Нет, Жора — человек не тонкой конструкции. Другой бы полюбил за глаза, за душу, за улыбку, черт возьми, а вот Жора такой, простой.

— Сразу видать, сын сапожника, — говорит и смеется. Хорошо на душе.

Жаль буква «Ф» подвела. Заметил инженер с бумагоцеллюлозного комбината. И хотя неизвестно, чьим сыном он был, но тоже пришел в восторг. Однако не стал поджидать девчонку возле клуба, а прямо сказал ей — будь моей женой.

В овраге, что зиял по правой стороне дороги, темнел немецкий самолет, и крылья лежали, словно две большие лапы. Видимо, «мессер» не первый день покоился в кустах, потому что листья, опадающие с ближних деревьев, успели основательно притрусить его и он казался выкроенным из старушечьего ситца.

Рота опять пошла лесом. Дорога здесь была немного шире. И взводы перестроились в колонны по три.

Встретились связисты. Они торопливо тянули кабель между деревьями.

Чугунков сказал:

— Чую кухню.

Вскоре они прибыли на тыловые позиции полка. Ржали лошади. Над котлами полевых кухонь поднимался пар.

Подали команду:

— Приготовиться на ужин!

Сумеречное небо, скрытое деревьями, подсматривало мутными, словно заплаканными, глазами. И стволы тиса торчали, будто руки, воздетые кверху.

Повар манипулировал черпаком. Она вкусно пахла, эта перловая каша со свиной тушенкой. И входила в котелок весело. Чугунков тянулся с двумя котелками. Повар вопросительно посмотрел на него, точно никогда не встречал нахалов, и скорчил невинную рожицу, но Слива, невдалеке перематывавший портянку, крикнул:

— Это мне, шеф! Это мне!

И повару, который, может быть, и даже наверняка, никогда не был шеф-поваром, очень понравилось такое обращение, и он не пожалел каши, положил в котелок, как говорят, от души.

Стучали ложки, торопливо, словно дождевые капли, а некоторые бойцы уже успели покончить с кашей и пошли за чаем. Только котелки мыть было нечем. И чай получился странным — не похожим ни на суп, ни на чай.

Ночь обволакивала лес.

Ситуация создалась столь неожиданная, чреватая такими серьезными последствиями, что из штаба армии уже спешил специальный представитель с особыми полномочиями. Между тем приказ требовал начинать операцию, не дожидаясь его прибытия. Дорога была каждая минута.

Полковник Гонцов, всматриваясь в темноту, стоял на бугре, возвышающемся над поляной, не очень ровной, которую сторожили несколько длинных груш.

— Они не заблудились? — спросил он Журавлева.

— Идут, — ответил Журавлев. — Слышите?

— Ничего не слышу.

— Вы же играете на балалайке.

— Балалайка — не скрипка.

— Все равно. У вас должен быть слух.

Но теперь шаги слышались явственно. И камень скрежетал, и позвякивали подковки.

— Запомним, у тебя музыкальный слух, — досадливо сказал Гонцов.

Журавлев махнул рукой:

— Немного учился музыке.

— Чего же бросил? Сила воли подвела?

— Вероятно, да... Но конкретная причина была другая. Сломал руку.

— Надо их встретить, — сказал Гонцов, но не двинулся с места. И майор Журавлев воспринял это как приказание.

Фигура Журавлева растворилась в темноте как-то сразу, словно ночь захлопнула за ним дверь. Потом слышались команды. Ротный доложил о прибытии.

Гонцов крикнул:

— Майор Журавлев, постройте людей в три шеренги с интервалом в два метра!

Когда приказ был выполнен, полковник Гонцов пошел вдоль строя, останавливаясь возле каждого бойца и выхватывая его из темноты фонариком. Лица, освещенные пучком света, казались большими, чем на самом деле, словно поданные крупным планом.

Слива чуть сощурился и расплылся в широкой улыбке, и полковник Гонцов улыбнулся. И совсем просто сказал:

— Ребята! — Необычность обращения почувствовал каждый. И полковник мог говорить тихо, не повышая голоса: — Командование фронтом идет вам навстречу и дает возможность всем сразу искупить свою вину перед Родиной. Дело, на которое мы вас посылаем, особо важное. И как ни странно, но для его выполнения вам не потребуются даже карабины.

— Я что говорил, раненых вытаскивать, — прошептал Слива.

— Получите ножи и пистолеты. — Полковник умолк; словно прислушался, потом глухо продолжал: — Уж кто виноват в этом, честно говоря, не знаю... Но на ничейной полосе, между полком майора Журавлева и немецкими позициями, остался неэвакуированный склад с боеприпасами. Но главная беда не в этом... Среди прочих бомб и снарядов на складе имеются мины к реактивным ми-

нометам «катюша». Эти мины — секрет нашей армии. Ваша задача до рассвета эвакуировать склад в безопасное место. Погода благоприятствует вам. Безветренно, и над долиной туман. Если действовать осторожно, без шума, с полным напряжением воли, смекалисто, то немцы никогда не обнаружат вас. Как я уже сказал, пойдете без карабинов, без вещевых мешков, без скаток. Возьмете саперные лопатки, фонарики, пистолеты и ножи. Бомбы через ничейную полосу вывезете на санках. Мы будем отвлекать немцев музыкой, пропагандой... Знайте, вас подстраховывают все огневые средства полка. Вопросы есть?

Чугунков спросил:

— Бомбы какого веса?

— Разного. Там, где не справится один, будете работать по двое, по трое...

— Ап-ап-чхи! — представитель штаба армии вздрогнул: его испугал собственный чих, прозвучавший в ночной тишине, как выстрел.

— Вам будет лучше у меня в землянке, — сказал майор Журавлев. — Иноземцев, проводи.

Крохотный, словно высушенный, подполковник едва стоял на ногах. Еще вчера его хватил грипп. Но болеть теперь было некогда. И, несмотря на озноб, кашель и ломоту в висках, он прибыл на позиции полка. Километров пять ехал ночью на лошади, хотя до этого никогда не сидел в седле.

Ночь была безветренная. Туман белел внизу, точно сугробы снега. Тучи рассосались. И в небе (даже не скажешь, какого оно было цвета — черного или густосинего) желтели звезды, крупные и мелкие, похожие на рыб и рыбешек.

Немцы вешали двенадцать ракет в час. Каждые пять минут — ракету. Когда ракета гасла, тьма наступала непроглядная.

Первую группу, из десяти человек, майор Журавлев решил повести сам. Он мог этого и не делать. Но понимал, что так будет лучше. Еще изучая на карте месторасположение склада, он вспомнил, что во время рекогносцировки видел поросший травой и кустарником бункер,

но принял его за заброшенное овощехранилище ближнего колхоза.

В первую группу майор хотел отобрать добровольцев, но добровольцами пожелала стать вся рота. И майор взял тех, кто вызвался первыми. Среди десятерых были Слива, Чугунков и бывший шофер Жора.

Маскировались тщательно. Старшина притащил ворох списанного хебе¹. Сапоги обернули тряпками. Туловище каждый перевязал веревками, между которыми, со спины, зажимались ветки хмелеграба, можжевельника, клена. Санки тоже были похожими на кустарники.

Ипоземцев сказал:

— Товарищ подполковник, пойдемте.

— Нет, голубчик, потерпи, — и представитель штаба армии опять чихнул, но теперь уже не так громко, потому что успел зажать нос платком.

Рывнуло радио. Пропагандист сбивчиво выкрикивал антифашистские лозунги. Потом заиграла музыка...

Группа, возглавляемая майором Журавлевым, покинула позицию. Когда через пять минут немцы произвели ночь ракетой, то ни представитель штаба армии, ни полковник Гонцов, ни другие люди, наблюдавшие за поиском из окопов, не могли различить на ничейной земле Журавлева и его бойцов. Редколесье, кустарник и клочки тумана, словно вата под елкой.

— Возможно, они достигли склада, — предположил представитель штаба армии.

— Едва ли, — взглянув на часы, ответил полковник Гонцов.

Внезапно холодный ветер, взметнувшись над бруствером, лизнул лица, и с северо-востока потянуло гарью, казалось, что она всплывает, точно муть, в несвежей, взболтанной воде.

— Ветер. Еще его не хватало. — Ипоземцев сказал вслух то, о чем подумали все.

Вглядевшись, полковник Гонцов успокоил:

— Это здесь, наверху. Смотрите, в ложине туман неподвижен.

При второй ракете все успокоились: хотя над позициями и погуливал свежий ветерок, там, внизу, туман покоился на прежнем месте.

¹ Хлопчатобумажное обмундирование.

Немцы выпустили двенадцать ракет, затем еще шесть. Группа Журавлева не подавала никаких признаков жизни. Между тем было заметно, что ветер спустился в ложицу: туман там начал понемногу рассеиваться.

В 00.30 представитель штаба армии разрешил дать (так было условлено с Журавлевым) две красные и одну зеленую ракеты, что означало — тревожимся, посылаем новую группу.

Подполковник точно забыл о своей простуде и уже долго не чихал, лишь нервничал.

— Удивляюсь, — говорил он полковнику Гонцову, — как вы, такой опытный солдат, не учли самой элементарной вещи: вдруг склад уже занят немцами. И они выдвинули туда сторожевой пост или устроили засаду.

— По данным разведки, немцы в районе склада не замечались.

— «По данным», — передразнил представитель штаба армии и отчаянно чихнул.

— Засада там, сторожевой ли пост, или вообще нет ни души — принципиально дела не меняет, — возразил Гонцов. — Люди вооружены пистолетами и ножами. А из орудий по складу палить нельзя.

— Группа готова, — доложил старшина.

— Пусть возьмут карабины, — сказал подполковник.

Гонцов возразил:

— Лишняя помеха.

— Оружие не помеха для солдата.

Подполковник пошел за старшиной. Люди сидели в окопах на корточках, прислонившись к стене.

— Друзья, — негромко, но проникновенно начал представитель штаба фронта. Но тут же сорвался: — Кто курит?

— Мы в рукав, — ответили из темноты.

— Прекратите!

— Слушаюсь.

— Друзья, — повторил подполковник, — группа майора Журавлева еще не вернулась. Мы не знаем, какие препятствия встретились на ее пути. Но время не ждет, и мы ждать не можем. Я поведу группу лично. Среди вас есть пулеметчики?

— Есть.

— Возьмите пулемет.

— Товарищ подполковник... — по траншее бежал запыхавшийся боец.

— Вы чего кричите? — ужаснулся подполковник.

— Товарищ майор вернулись...

— А люди?

— И люди тоже... Они немного правее вышли.

— Отставить пулемет, — сказал представитель штаба армии и поспешил за бойцом.

Окоп вилял, словно хотел запутать, сбить со следа. И комья глины, протяжно шурша, время от времени сползали с бруствера. Боец юркнул вправо. Подполковник увидел ответвление в окопе лишь тогда, когда миновал его. Ему пришлось разворачиваться. И он зацепил плечом о стену, и глины зашуршало много... Меньше чем через минуту они оказались в овраге. Двое солдат, тяжело ступая, понесли что-то на носилках. За ними шли еще двое солдат с носилками.

— Раненые? — спросил подполковник.

— Реактивные мины, — ответил майор Журавлев и доложил: — Всё в порядке. Задержаться пришлось потому, что вход в бункер был завален.

— Гора с плеч, — сказал подполковник и опустился на холодную землю. Сейчас, когда дело наконец сдвинулось с места, он почувствовал озноб и жуткую усталость.

— Одновременно будем производить эвакуацию всего склада, — тихо сказал он. У него не было больше сил бороться с болезнью.

— Иноземцев, — сказал майор Журавлев, — фляжку!

Ваня отвинтил пробку и подал фляжку подполковнику. Тот сделал несколько глотков, потом неудержимо закашлялся.

— Не пошла, проклятая, — сказал Гонцов. — Ваня, отведи человека в землянку.

— Да, — согласился Журавлев. — Там теплее.

Подполковник хрипло спросил:

— Как вы считаете целесообразным организовать работу?

Он произнес слово «работа», но оно показалось ему чересчур гражданским, и он поправился: — Вернее, операцию?

— Группы в составе пятнадцати человек будут выступать каждые десять — пятнадцать минут.

— Они не помешают одна другой?

— Нет. Дело в том, что со стороны противника заросли кустарника гораздо выше и гуще, чем с нашей. Для группы десять минут достаточно, чтобы вынести бомбы или мины из склада. Укладывать их на санки они будут прямо под открытым небом.

— Хорошо, — сказал представитель штаба армии. — Все правильно. Я согласен.

Он поднялся. Нерешительно произнес:

— Лихорадит... Может, мне действительно пройти на часок в землянку...

— Конечно.

Чуть ли не в один голос сказали Журавлев и Гонцов.

Опираясь на плечо Иноземцева, подполковник пошел к землянке.

У рации теперь дежурила Галя. Тамара спала на нарах, свернувшись под шинелью калачиком. Нары майора Журавлева, на которых вместо матраца лежал толстый покров из хвои, были свободны.

— Царское ложе, — пошутил представитель штаба армии и опять стал кашлять.

Иноземцев уговорил его спать сапоги. Накрыл одеялом и шинелью.

В землянке было тепло и даже пемножко душновато. И воздух от коптилки был очень несвежим. Радистка Галя, борясь со сном, шурила тяжелые, словно набухшие, веки и монотонно повторяла:

— «Индус»! «Индус»! Я — «Чайка». Как слышите меня? Прием!

Смерть, сука, боится смеха. Это давно подмечено. А Сливу всю жизнь друзья называли веселым малым. И уж как-то получилось, что и сам Слива считал своей обязанностью дружить с улыбкой. И он наряжался в нее, как клоун. А между тем тоска частенько напрашивалась к нему в гости. Только об этом никто не знал. Догадывалась, наверное, жена. Или ему всего-навсего казалось так, когда она подолгу смотрела на него. А глазами мама с папой наделили ее такими, какие лишь поэты и называют: бездонными, серыми. Во взгляде, подкрепленном молчанием, чувствовались и сила, и мысль. Но он-то, Слива, знает: стоило сероглазой красавице произнести

хотя бы два слова, становилось ясно, что она пуста, как мячик.

— Слива, — тряхнул за плечо Чугунков, — закемарил?

— Пригрелся, как кот на лежанке, — усмехнулся Слива.

— Вставай. Нужно отправляться.

Они теперь входили в третью группу. И были в ней ведущими, так как знали дорогу.

Майор Журавлев, который минуту назад вернулся со склада, напуганно вполголоса:

— Ребята, снаряды и бомбы закрепляйте на санках основательно. Скатятся, хлопотно будет.

— Понимаем, товарищ майор.

Вечерняя духота сменилась прохладой, свежей, но не стылой. И туман в долине медленно редел.

Слива перелез через бруствер. Комок глины попал к нему в сапог.

— Готов? — Чугунков подал санки.

Первые метры они не ползли, а частили на четвереньках. И санки шуршали вслед за ними, словно листья, подгоняемые ветром: Чугунков, Слива и остальные солдаты привязали веревки от санок к поясам, но все равно передвигаться на руках и ногах и буксировать санки, даже пустые, было неудобно. А ползти обратно — с тяжелой, будто налитой свинцом, бомбой? В прошлый заход Слива еле добрался до позиций. Казалось, сердце выпрыгнет, как лягушка. Так было тяжело!

Все плюхнулись на землю и замерли, когда взлетела ракета. Слива даже закрыл глаза: будь что будет! Ракета горела долго, вначале очень ярко, потом все тусклее и тусклее, как угасающая коптилка. Где-то слева — в километре — застрочил наш пулемет. Зеленые пули пропунктировали тьму. Это майор Журавлев указывал направление: если каждый из группы будет двигаться параллельно трассирующей линии, то он как раз наткнется на склад.

Радистка Галя:

— «Индус»! Я — «Чайка». Дайте первого. Как слышите меня? Прием. «Индус»! Я — «Чайка». Слышу вас хорошо. У микрофона восьмой.

4. Подполковника из штаба армии сжигала температура, он с трудом стоял на ногах. И кругиплыли перед глазами. И казалось ему, что в землянке не одна, а шесть раций, и он не знал, в какой же микрофон говорить.

— Первый! Я восьмой! Первый! Я восьмой. Операция на С-72 проходит успешно...

Подполковник качнулся. Иноземцев поддержал его за плечи...

Опять заиграла музыка, какое-то танго. Певец лениво растягивал нерусские слова. Пластинка была знакомой, но название ее Слива не помнил. Он просто вслушивался в мелодию, которая плыла над воловой, и на душе становилось спокойнее. И шумы, и шорохи, производимые людьми и санками, больше не пугали. И не было проклятого одиночества — будто ты песчинка под этими дремотными звездами. Припомнилось, что за твоей спиной свои, что тебя поддержат, прикроют. Уж только ты сам не подкачай.

Дальше двигались по-пластунски. И еще одна ракета настигла их в пути...

Но вот и склад. Старый бункер. Возле ребята, те, что ушли раньше, закрепляют бомбы на санях. Дверь, уходящая в землю. По ступенькам спускаются без санок. Оставили наверху. Воздух непроветриваемый. Пахнет гнилью. Лучи фонариков, непоседы, прыгают, вертятся...

— Да, — говорит бывший шофер Жора, — дорога, прямо отметим, не шоссе, но отмахать по рейсу еще придется.

Бомбы лежат в длинных, узких ящиках, словно в гробах.

Чугунков предлагает:

— А что, если их прямо в таре транспортировать.

— Чушь, — отвечает Слива. — Тяжелее, неудобнее. Попробуй замаскируй желтые ящики.

Срывает пломбу, распаковывает крышку. Взрывателя, конечно, нет. Но посмотреть на всякий случай не мешает.

— Помоги, — говорит Слива.

Они с Чугунковым осторожно поднимают бомбу с деревянного ложа.

— Посторонись, посторонись... — Медленно ступая, двигаются к выходу.

Проклятая глина. Вместе с ней в сапог Сливы, видимо, попал и камень. Забился под портянку и мешает идти. Прихрамывает Слива. Подниматься по глиняным ступенькам вот с таким грузом совсем непросто. Пальцы потеют и скользят по металлу, а он грубый, твердый, в него не вцепишься ногтями.

— Раненых таскать, — бурчит Чугунков, передразнивая Сливу. — Человек, он есть человек. Большой ли, здоровый. С ним всегда договориться можно.

Они осторожно положили бомбу на сапожки Сливы.

— Потом закрепим, — прошептал Слива. — Пошли за второй.

Но, когда они спустились в склад, там произошло следующее. Архивариус, который с каким-то бойцом поднимал ящик, не удержал свой конец. Естественно, что ящик вырвался из рук напарника, перевернулся, и бомба вывалилась на пол и завертелась, словно рыба, выброшенная на берег. Все замерли. Не припали к земле, ища спасения, а, верно, остолбенели. Лучи фонариков, точно прутья, подперли бомбу. Взрыва не случилось. И старшина первый нашелся и сказал:

— Так дело не пойдет. Должен быть порядок! Слива и Чугунков, оставайтесь здесь, подготавливайте бомбы.

Порожние ящики, чтобы не мешали, решили ставить к стене один на другой. Ящики с бомбами подтаскивали к самому входу, проверяли, нет ли взрывателей.

Люди подходили и подходили. И Слива подумал, сколько же здесь людей — от склада до самых позиций полка.

— Как там туман? — спросил Слива бывшего шофера Жору.

— Туман — свой парень. Вновь крепчает.

— Работы еще на час осталось. Продержится?

— Я же сказал, крепчает. — Жора включил фонарик. И, словно обметая пыль, повел лучом по стенам. Шмыгнул носом: — Слива, тебе не кажется, что здесь пахнет газом?

— Нет. Здесь пахнет ленинградским рестораном «Астория».

— Белая кость. По ресторанам ходил! — изумился Жора. — А мы больше так, из горлышка.

— Хватит трепаться, — сказал Чугунков. — Давай лучше бомбу вытащим.

— Мне бы которую поменьше, — сказал Жора.

— Не в магазине, — возразил Чугунков.

Они взяли бомбу на плечи, как бревно, и пошагали к выходу.

Рация молчала. А Галя привыкла к наушникам, как близорукие привыкают к очкам, и не замечала их. Подвинув поближе кагапец, она разложила перед собой маникюрный набор, открыла флакончик с лаком, понюхала и занялась ногтями.

Ночные дежурства, когда стояла тишина и не было срочной работы, тянулись точно резина. И самое гиблое дело поглядывать тогда на часы. Стрелки словно спят на циферблате. А часы, насмехаясь, убаюкивают: ус-ни, ус-ни...

Никто ей не говорил, но она сама сделала это маленькое открытие: время можно перехитрить. Забыть о нем. И если думать о чем-то хорошем, строить планы, вспоминать прошлое, время начинает злиться. И торопится.

Галя усмехнулась: она обнаружила в собственной судьбе странную повторяемость. Она влюблялась трижды. И все три раза в своих начальников. Может, только к первому случаю слово «начальник» не очень подходило. Она была десятиклассницей, а он учителем. Правда, всего лишь учителем черчения. Впрочем, он руководил драмкружком, а Галя считалась ведущей артисткой школы. Значит, верно: он был все-таки ее начальником. Худой, всегда плохо выбритый, с крупным кадыком на длинной шее, он умел быть заразительно непосредственным. Он знал много шуток, прибауток, анекдотов и рассказывал их всегда к месту и всегда с тактом. С ним было весело. Он, казалось, не умел сидеть или стоять на одном месте. Всегда в движении, как плетью, размахивал длинными руками. Не красивый, не юноша. И так ей нравился...

Он снимал с жепой комнату в частном доме, рядом со школой. И жена его, плоская, как доска, работала инспектором горно. Он днями пропадал в школе, а репетиции драмкружка порою затягивались до девяти, до десяти вечера.

Они увлеклись театром Клары Гасуль. Решили поставить «Жарету святых даров». Галя, конечно, исполняла

роль Камилы Перичола — отчаянной и красивой комедиантки.

«Я не пазываю никого, должность доносчика мне не по душе. Я молода, недурна собой, я актриса и не избавлена от наглых приставаний, вот мне и сдается, что какой-нибудь фат, которого вы почтили доверием, а я выгнала вон из театра, порадовал вас такого рода милыми выдумками».

Конечно, с точки зрения знатоков школьного воспитания, убежденных в святой наивности учеников, пьеса Проспера Мериме — безнравственна.

На генеральной репетиции разразился скандал. Его удалось замять лишь благодаря тому, что представителем гороно была именно она, жена руководителя драмкружка.

Он тогда жестоко поругался со своей нравственной супругой. А рыжеволосая Камила Перичола плакала за кулисами. И он пришел к ней и, успокаивая, стал целовать ее мокрые глаза, щеки, а потом и губы.

Вскоре жена его заболела. И он пошел навестить ее в больницу. Это было осенью. Вечером. Луна глядела такая яркая. И Галя провожала его до больницы. Но не ушла домой. А осталась ждать. Он изумился, когда, сдавая гардеробщице халат, сквозь застекленную дверь увидел на аллее Галю. Он повел ее к себе на квартиру. Но очень боялся хозяйки. И Галя это заметила. Учитель не казался больше веселым и остроумным. А без этого он был, словно общипанный цветок...

Второй раз она влюбилась, уже будучи учительницей. Директор был седой, интересный и очень умный. Он называл ее деточкой. Иногда похлопывал по плечу. И все. Да однажды, на Восьмое марта, он сказал ей комплимент:

— Где-то ходит юноша, которому я очень завидую. Вы понимаете, почему? Да потому, что его полюбит такая девушка, как вы.

Третьим... Нечего и говорить о третьем. Ибо им был майор Журавлев — чистое недоразумение. Он улыбался только тогда, когда ему докладывали о потерях противника. Ни разу не сказал ей ласкового слова, если не считать благодарности по службе, одной-единственной, объявленной ей как рядовому бойцу Красной Армии.

Галя закончила маникюр на левой руке и уже принялась рассматривать ногти на правой... И вдруг тоскливая, ночная тишина была внезапно нарушена сильным ружейно-пулеметным огнем.

Представитель штаба армии вскочил с постели. Вспыхах натянул сапоги и бросился вон из землянки.

Как это случилось? С чего, собственно говоря, началось? Наверное, все-таки с камня, который попал в сапог Сливе, когда тот выбирался из траншеи. Потом камень мирно лежал где-то в портянке, хотя Слива и секунды не стоял на месте, и бомбы были тяжелые, и приходилось крепко держаться на ногах, осторожно ступая по складу. А ребята приходили и приходили. И мины и бомбы уплывали, как по конвейеру. Чугунков лишь сопел. И произносил минимум слов:

— Взяли! Поддержи! Давай влево.

Может, он сэкономил силы. А может, так устал, что собственный язык казался ему отлитым из свинца.

Последнюю бомбу Слива положил на свободные санки для себя и начал неторопливо закреплять ее веревкой. Чугунков сделал знак (разговаривать возле склада ввиду близости противника было не велено), и Слива увидел, как растворилась в тумане фигура друга.

Туман, который к середине ночи начал было рассеиваться, ближе к рассвету вновь загустел, и Слива подумал, что при его маленьком росте нет нужды корчиться на четвереньках. Можно преспокойно дойти к позициям полка и только там, чтобы его не заругали, осилить метров пятнадцать по-пластунски.

Он очень старательно привязал бомбу. Перекинул через плечо лямку. И уже сделал несколько шагов, как вдруг почувствовал, что попавший в сапог камень скатился под пятку и ступать стало больно.

Слива опустил на землю и стащил сапог.

Туман стоял плотной стеной. Но теперь он был светлее, чем тогда, когда Слива, Чугунков и остальные ребята первый раз ползли к складу. Перемотав портянку, Слива пошел вперед, но кустарник заслонил ему дорогу, и пришлось взять вправо, но там была яма. Слива обнаружил ее поздно, когда свалился. Треск раздался сильный, слов-

но кто разломил доску. И немцы моментально пульнули ракету. Но самой ракеты Слива не увидел. Только туман заиграл блесками. И было очень красиво и чуточку страшно. Однако Сливе везло: во-первых, немцы его не обнаружили; во-вторых, он упал удачно, ничего не зашиб и не повредил; в-третьих, санки с бомбой не нырнули за ним в яму, а остались наверху, видимо поддерживаемые кустарником.

Повернувшись на бок, Слива понял, что выбраться из ямы, не производя шума, будет совсем не просто. И он сжался, как гармошка, потом стал выпрямляться. Но в небе опять оказалась ракета, на этот раз зеленая. И туман позеленел, словно море. Его видишь таким, если ты ушел под волны, открыл глаза, а денек солнечный!..

Слива, конечно, замер. Ракета загасла быстро. И он наконец выкарабкался. Нащупал в темноте ляжку. Затем, не раздумывая, двинулся в обход. И вскоре ему попалось нечто похожее на тропинку. Он пошел по ней пригнувшись, потому что санки шаркали полозьями о камни и о сухие ветки гораздо громче, чем тогда, когда они с группой майора Журавлева ползли первый раз.

«Кажется, иду не той дорогой», — подумал он. И вдруг впереди себя, не далее чем метров сорок — пятьдесят, услышал немецкую речь. Он не знал немецкого языка и тем не менее ни секунды не сомневался, что там, за кустами, куда вела тропа, говорят не по-грузински, не по-армянски, хотя и этих языков он не знал.

Как он поступил? Вначале присел на корточки, потом лег на живот, расстегнул кобуру и вынул пистолет. О чем он думал? «Уж не разведка ли противника подбирается к нашим позициям? Вступать в бой или переждать?»

Понятно, что минуты, которые он провел в неподвижности, показались ему совсем не минутами, а может, даже часами. Понятно, что он помнил об опасном грузе, который лежал у него в санках. Понятно, что неосторожным движением боялся испортить дело.

Тишина. Долгая, долгая тишина...

Потом опять разговор впереди, разговор слева... И все по-немецки. Да нет. Это уже не разведка. И станет ли разведка спокойно переговариваться на подступах к окопам противника. Вдруг за спиной, на наших позициях, молчавшее было радио заиграло «Рио-Риту». И тогда Слива догадался, что полз в противоположную сторону.

Слива прижался к земле, свято помня, что только в ней его спасение. Развернулся и стал поворачивать санки, но они накренились и наделали столько шума, что с немецкой стороны крикнули: «Halt!»

А потом стали стрелять.

И тогда Слива побежал. Согнувшись. А лямка тянула его назад. И он несколько раз падал на спину, когда санки цеплялись за кусты или большие камни. Трескотня выстрелов усиливалась. Слива не сразу сообразил, что стреляют не только немцы, но и наши. И когда он увидел трассирующие линии, как бусы, перекинутые в ночи, он вспомнил, что не одинок. Что за него уже воюют. И сил прибавилось, и посветлело на сердце...

Музыка словно приветствовала возвращение Чугункова. Было чертовски приятно опуститься вот так на дно окопа, чувствовать за спиной надежную, прохладную землю и слушать музыку, под которую танцевал совсем недавно, каких-нибудь полтора года назад. Чугунков видел, как четверо солдат подхватили его санки и бомбу и потащили туда, в тылы, по извилистому ходу.

Подошел согнувшийся человек. Чугунков узнал майора. Но подниматься так не хотелось, будто проклятые санки вытянули из него все силы. Однако Чугунков сделал вид, что хочет подняться, но Журавлев жестом предупредил его — не падо. Спросил:

— Последний?

— Нет. Еще один.

В это время и раздались выстрелы.

— Слива! Они стреляют в Сливу! — Чугунков и майор прильнули к брустверу.

Отсветы над землей метались широкими желтыми полосами, потому что немцы стреляли трассирующими пулями. Сомнений не было: Слива обнаружен.

В ту же минуту майор Журавлев отдал приказ подразделениям полка открыть ответный огонь.

Галя присела на нары. Землянка дрожала. И пыль клубилась над бревнами, словно над грязным ковром, когда его выбивают палкой. Тамара, сменившая ее у ра-

ции, совсем по-девчоночьи посмотрела на подругу и жалобно сказала:

— Близко.

— Я пойду, — сказала Галя, но не двинулась с пар, а только закусил губу.

— Не имеешь права, — возразила Тамара.

— Я хочу быть с ним... Хочу посмотреть, какой он там, под пулями. Может, он струсит. И я разлюблю его...

— Он не струсит, — ответила Тамара. И тут же в микрофон: — «Индус»! Я — «Чайка». Слышу вас хорошо.

Схватила карандаш. Ученическую тетрадку. И стала быстро записывать.

Галя вышла из землянки.

Им только казалось, что снаряды рвались рядом. Артналет бушевал там, внизу, над позициями полка. А здесь было свежо, немножко серо, и воздух самую малость отдавал порохом. Никаких тропинок возле землянки не пролегало. И Галя пошла напрямик, внимательно поглядывая себе под ноги, иногда хватаясь за ствол дерева или ветку кустарника.

Она спустилась метров на пятьдесят, а может, чуть больше. И встретила первую тропинку. Но на тропинке стояли маленькие кони темной масти. И бойцы выючили на них бомбы. Галя заглянула в глаза лошади, а лошадь в глаза Гали. И обе они насторожились и удивились, потому что артиллерийская канонада внезапно смолкла.

Галя пошла вдоль тропинки к позициям, а бойцы, видимо казахи, по-своему покрикивали на лошадей, держа их под уздцы.

Тропинка сползала вниз, к самому подножию горы. И Галя медленно шла по ней, а кони остались выше и позади. Впереди не было видно ни одной души, да и сама тропинка дремала где-то между кустарниками; но Галя уже ходила здесь раньше и знала, что через несколько метров начнется траншея.

Ветки и листья присыпали тропинку. Справа меж кустов светлели плечи. Еще вчера их здесь не было. Галя поняла, что это следы от мин. У входа в траншею она увидела представителя штаба армии. Он лежал на спине в распахнутой шинели и глядел в небо неживыми глазами.

Ветер слизал туман. Но темные и серые пятна еще имели расплывчатые очертания. И только контуры гор проглядывались четко на посветлевшем небе.

— Восход в пять. сорок, — сказал полковник Гонцов.

Он высунулся над бруствером, хотя понимал, что это рискованно, и посмотрел на место, где темнела фигура Сливы, распластавшегося на санках. Кажется, в последний момент, поняв, что ему не добраться, Слива прикрыл бомбу своим телом.

— Все-таки немцы его не видят, мешают кусты.

Майор Журавлев возразил:

— Они знают, что он мертв. А про бомбу не догадываются. Ставим дымовую завесу.

Гонцов согласился.

Но когда десятка два шашек выбросили белые хвосты дыма, немцы вновь начали стрелять из минометов и не только по позициям, но и по ничейной земле, словно сиюминутно угодить в Сливу.

Старший группы Чугунков сказал:

— Вперед, ребята!

И полез на бруствер.

Ребят было двое: бывший шофер Жора и архивариус.

Ветер гнал дым вдоль позиций низкой полосой, а когда в полосе рвались мины, то они вздымались белыми гривами, которые исчезали быстро, словно мыльные пузыри.

— Только бы не сбились с направления, — сказал полковник Гонцов. Кто-то теребил его за рукав. Он обернулся: — Галочка!

— Там... Подполковник из штаба армии лежит убитый, — тихо сказала радистка.

— Где?! — это уже кричал Журавлев.

— У запасного входа.

— Иноземцев!

Но тут мина упала рядом. Всех присыпало землей. А Галю даже немного ударило о стенку окопа. Она стояла, покачиваясь, потому что ее тошнило и перед глазами плыли желтые ромашки.

— Марш в укрытие! Всем! Всем! — майор Журавлев очень злился. Он схватил Галю за локоть и поволок за собой. — Почему вы здесь? Кто разрешил вам покинуть КП?

— Я... Я... — Галя пыталась посмотреть ему в лицо. Но ромашки по-прежнему плыли перед глазами.

— Накажу! — зло выкрикнул майор Журавлев. И убежал из укрытия.

— Иноземцев!

Мины ложились часто и густо. Гонцов некоторое время сидел рядом с плачущей Галей и гладил ее волосы. Потом тоже ушел. А Галя плакала долго...

Она появилась в траншее, когда уже взошло солнце, еще невидимое отсюда, потому что его заслоняли горы.

Всего несколько минут назад благополучно вернулись Чугунков, бывший шофер Жора и архивариус. Они принесли тело Сливы, бомбу и санки. У Жоры была перебита левая рука. Санитарка перевязывала его бинтами. Чугунков, вынув из кармана гимнастерки Сливы протертый конверт, старался разобрать домашний адрес. Архивариус жадно сворачивал самокрутку.

Увидев Галю, полковник Гонцов спросил:

— Все нормально?

Вынул из кармана мятую плитку шоколада.

Галя покачала головой, и слезы опять побежали по ее щеке.

— Товарищ полковник, переведите меня в другую часть. Умоляю...

Но Гонцов ответил скороговоркой, словно не принимая ее просьбы всерьез:

— Хорошо, хорошо. Что-нибудь придумаем.

И, разорвав обертку шоколада, поднес его прямо к губам Гали.

— Я очень прошу, товарищ полковник.

— Кушай, кушай... Переведем в штаб дивизии.

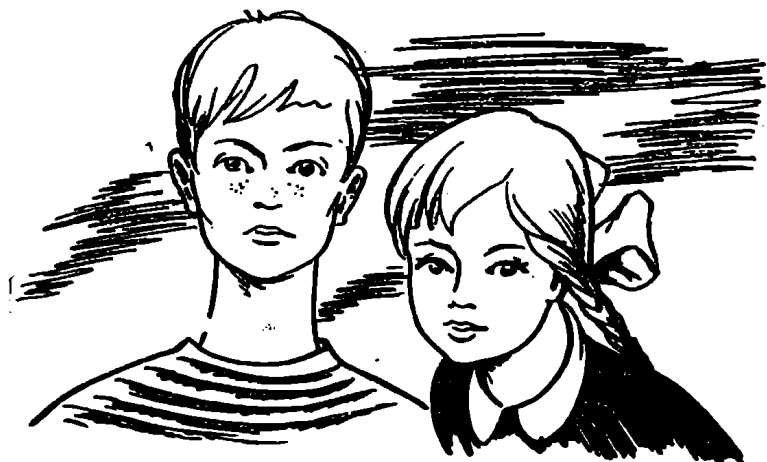
Он прошел мимо. И она удивилась, потому что от полковника пахло мылом и хорошим одеколоном.

Выйдя из траншеи, Галя вновь увидела маленькую лошадь темной масти и двух скуластых бойцов. Рядом на носилках покоилась бомба с желтым стабилизатором. Место, на котором час назад лежал представитель штаба армии, было присыпано сухой глиной.

Далеко где-то майор Журавлев кричал:

— Иноземцев, организуй завтрак!





ДНИ В СЕНТЯБРЕ

1

Старая гречанка, жившая на самой горе, всегда останавливалась над нашей акацией, когда возвращалась из города. До бомбежек она носила на рынок фрукты и овощи, одетая в свободное черное платье с широким, необыкновенной белизны воротником, над которым темнел властный загорелый подбородок. Я несколько раз помогал ей нести корзину, гречанка благоволила ко мне и делилась житейской мудростью:

— Не оказав человеку помощь, не рассчитывай на его дружбу. — Вынимала из корзины грушу, желтую, как солнце, и добавляла: — Ты слышал о шести признаках дружбы?

— Нет.

— Давать и брать. Рассказывать и выслушивать тайны. Угощать и угощаться.

— Все это неправильно. Пережиток капитализма.

— Нет, сынок... Это мудрость, открытая людьми, когда никакого капитализма не было. Как и не было нас с тобой.

— Почему открытая? Разве мудрость дверь? Разве она лежала где-нибудь закрытая? Или мудрость придумали обезьяны?

— Мудрость на всех одна, на все живое...

Она глубоко вдыхала воздух и ступала дальше — сухопарая, высокая, не сгорбленная годами...

Я был далек от мысли проверять слова гречанки на практике, но дружба с Вандой началась с услуги, о которой без обиняка попросила меня юная полячка.

Они вселились к нам в дом меньше года назад, в порядке уплотнения. И мы отдали им две маленькие смежные комнаты. А сами теперь занимали одну большую, которую мать называла залом, и мспышую с окном во всю стену, выходившим в сторону моря. Правда, море было далеко: опоясанное горизонтом, чаще синее, но иногда и зеленое, и черное, и голубое. Я привык видеть море и небо вместе. А Ванда не привыкла. Она таращила свои удивительные глаза и все пыталась выяснить: сколько до моря километров.

— Двадцать минут ходьбы быстрым шагом, — отвечал я. — А если медленным, то тридцать.

— Сколько шагов ты делаешь в минуту, когда идешь быстро?

— Не знаю.

— А когда идешь медленно?

— Не знаю.

— Нужно посчитать.

Но я ленился считать.

Беатина Казимировна Ковальская с дочерью Вандой приехали к нам из Львова. Я не знаю, где они скитались, когда Львов взяли немцы. Но приехали они к нам уже в октябре. И мы обрывали виноград, который Ванда ела много и аппетитно.

Они были настоящими поляками. И мать, и отец, и дочка. Но все отлично знали русский язык, потому что Беатина Казимировна была специалистом по истории русской литературы. Отец Ванды служил командиром в Красной Армии. Я забыл, как его звали, ибо видел отца Ванды только один раз, когда он приезжал за ней на Пасеку.

Вещей они привезли совсем мало: два или три чемодана и постель. Но Ванда одевалась лучше всех девочек на нашей улице. И ей все очень шло, потому что она была ладной и красивой, как взрослая.

Город еще бомбили редко. Но к запахам осени уже прибавился новый запах. Он был въедливый и стойкий.

Им пахло все — и дом, и виноградные листья, и хлебные карточки, и даже голубые банты, вплетенные в косички Ванды. Это был запах пороха.

Немного позднее пришла гарь. Бомба нырнула в круглое, как консервная банка, хранилище нефтеперегонного завода. И черная борода дыма заслонила полгорода. И немцы пользовались этой завесой. Их тусклые самолеты кувыркались в небе, словно дельфины. А бомбы, отдолавшиеся от самолетов, вначале были похожи на маленьких мушек, потом увеличивались, потом их обгонял свист. И тогда я закрывал глаза...

Итак, Ванда жила в нашем доме уже больше месяца, мы ходили в одну школу и даже в один класс. Но мною тогда правилась одна девочка, которая уехала в Архангельск. И я скучал и не замечал других девочек. Но Ванда не знала этого и думала, что я обижаюсь на нее из-за «уплотнения». И смотрела на меня холодно и гордо.

Она теперь всегда играла на лавочке между двумя кустами жасмина. Раньше это была моя лавочка. Но она торчала из земли возле крыльца Ковальских, и мне неудобно было приходить туда. Тем более что с Вандой мы почти не разговаривали, а после одного случая даже перестали здороваться.

Случай был такой. Конечно, глупый. И, конечно, очень обидный для Ванды. Рядом с нами жил Витька Красинин. Года на три младше меня. Значит, ему было лет семь или восемь. Не помню, учился он уже или нет. И этот Витька подошел к скамейке, где Ванда играла, расставив на кирпиче маленькую игрушечную посуду: белые чашечки с голубыми цветочками, блюдечки. Витька подошел и помочился на посуду. Ванда от изумления не могла произнести ни слова. Потом с ней случилась истерика. И Бетина Казимировна бегала к деду Красинину жаловаться на Витьку. Дед грозно звал внука домой, а Витька прятался за забором и показывал деду кукиш.

Ванда сразу решила, что это я подговорил Витьку. Впрочем, это не совсем так. Витька и сам был превосходным выдумщиком. Я просто поддерживал его. Или, образно говоря, благословил...

Когда Витька окроплял посуду Ванды, мы с мальчишками хохотали, как припадочные. Если не путаю, я даже упал на землю и катался по траве, держась за живот.

Вскоре, кажется в ноябре, пятую школу, где мы учились, заняли под госпиталь. Говорили, что на месяц, самое большее на два. Однако наши каникулы затянулись до осени 1943 года.

Я все дни, с утра до вечера, болтался на улице и во дворе. Ванда тоже появлялась в саду, читала на скамейке под жасмином. Как-то раз она вышла за калитку и долго-долго смотрела на море. Я сидел под акацией и от нечего делать ковырял напильником трухлявый ствол.

Вдруг Ванда обратилась ко мне. Без улыбки, но вежливо:

— Степан, проводи меня к морю. Одна я долго буду искать дорогу. Вдвоем быстрее. И мама может не заметить мое отсутствие.

Я конечно бы не пошел. Но мне очень понравилось, что Ванда хочет уйти тайком от матери. И я не мог не поддержать ее в таком деле.

— Это можно, — сказал я.

— Мы будем идти быстрым шагом, — сказала Ванда. — Двадцать минут туда, двадцать обратно. Пять минут стоим у моря. Я только послушаю волны. Всего — сорок пять минут...

Мы побежали вниз по улице. Нет... Узкую и длинную полоску земли, протянувшуюся по хребту горы между двумя рядами крашенных деревянных домиков, можно назвать улицей с такими же оговорками, как таблицу логарифмов книгой. Просто любой человек знает, что дома нельзя строить вплотную друг к другу. Вот и оставалось пространство: без мостовой, без тротуаров. Для людей и для дождя. Люди ходили по этой улице, чуть ли не прижимаясь к заборам, а машины вообще не могли по ней ездить, здесь только дождь чувствовал себя вольготно да ручьи, петляющие в изломанных канавах с желтой глиной на дне.

Я долго не знал, что такая же глина, цвета яичного желтка, есть и у нас в саду. Но когда взрослые стали копать щель, выяснилось: слой черной земли — не шире ладони, а под ним глина, слежавшаяся, твердая, будто макуха, которую мы теперь часто грызли вместо халвы. Долбить глину приходилось тяжелым поржавевшим ломом. Женщины отдыхали после трех-четырех ударов. И разглядывали свои ладони, на которых белым пухом волдырилась водянка. А ладони у них были нежными. И мне

было дивно видеть все это. Дивно, как если бы вдруг моя мать или сестра Любка закурили трубку.

Чтобы сократить путь, я повел Ванду напрямик, через вокзал. Он тогда был в центре города, где сейчас автостанция. У перрона стоял санитарный поезд. Из вагонов выносили раненых. Бинтов было очень много. И раненые виновато стопали, потому что их несли совсем еще молодые девушки. Ванда сжимала мою руку. Я думал, что она заплачет. Но она не плакала. И ничего не говорила.

По деревянному, очень грязному мосту мы перешли речку Туапсинку. Свернули направо...

Море было спокойным и солнечным. На берегу лежал тралышник. Он лежал на боку, точно большая рыба диковинной породы, недалеко от устья. И ржавчина щетиной росла на его обшивке. Темная, зияющая рванью корма свешивалась над волнами. Брус с четырьмя листами обшивки, загнутыми словно ковш, выступал из воды, образуя крошечную бухту. Из-за неподвижности море в этой бухте казалось куском стекла, мутного, с радужными разводами от мазута, который сбрасывал в речку нефтеперегонный завод.

А я помнил другое море. Гальку. И людей. Довольных, загорелых людей. С вышки спасательной станции свешивался длинный черный репродуктор, похожий на трубу от граммофона. Дежурный в полотняной бескозырке, татуированный — грудь, руки, живот и даже икры, — крутил пластинки. А внизу у белой цистерны продавали холодный морс. Рядом стояли весы, такие же белые, как цистерпа, и на них можно было взвеситься, заплатив пятак старушке в чистом халате...

2

После Георгиевского, куда мы ездили на две недели спастись от бомбежки, все в доме выглядело особенно милым. Может, потому, что на нашу квартиру мне впервые удалось посмотреть со стороны. Я увидел, какая у нас большая и светлая комната и как здорово, что розы цветут у самых окон, а глициния вьется по крыше.

Ванда повела меня в дальний конец сада. Там был сложен шалаш из полыни.

Пахучая, раскидистая полынь жила во дворе за на-

шим домом, возле низкого забора, который наклонился и ронял тень на клубнику Красинина. И клубника росла у забора бледная, словно белый тутовник. Красинин вращал и латал забор ржавой проволокой, ставил корявые подпорки из молодого дубка. Дубок мужал на горе, там, на самом хребте, невысокий дубок с твердыми листьями: с одной стороны гладко-зелеными, с другой — матово-бледными, точно припудренными. Красинин обрывал листья и в мешке носил домой. Складывал на чердаке. К зиме его чердак был всегда набит листьями, не пожелтевшими, а просто сухими. И козы Красинина (у него было три козы, не считая козлят) в дождь и слякоть, когда пастух не гонял стадо, жевали эти листья. А дед лазил на чердак по аккуратной, обструганной лестнице и выносил оттуда охапки листьев, которые так пахли лесом, что было слышно даже у нас во дворе.

И вот этот сосед Красинин, Витькин дед, сердился и поругивал нас, обвиняя в лентяйстве за то, что мы не «изничтожаем» полынь, росшую у забора. И по-видимому, немножко презирал нас за бесхозяйственность. Мы на самом деле мало заботились о саде. Да и едва ли слово «заботились» уместно в данном случае. Просто весной отец или мать окапывали фруктовые деревья, белили стволы известью. Так поступали все. И это было очень красиво. Деревья в садах казались подарками, завернутыми в чистую бумагу.

За день до отъезда в Георгиевское мы с Вандой выдернули полынь. И хотя клубничный сезон давно минул и тень не раздражала Красинина, нам почему-то взбрело на ум, что нужно избавиться от полыни. И мы ее «разбомбили». Были, подражая звуку падающих бомб, размахивали руками, кричали: «Трах-трах!» Хватали полынь за стебли, выдирали с корнями, разбрасывали в разные стороны.

И я удивился, когда узнал, что из этой самой полыни Ванда и Витька сложили шалаш.

— Тебе помогал Витька? — не поверил я.

— Мы помирились. Он еще маленький и немножко глупый...

В шалаше стоял табурет, покрытый газетой, на газете лежали груши, яблоки, айва. У табурета стояли две низкие скамеечки. Видимо, Витька взял их у деда, скорее всего без разрешения.

— Какие здесь новости? — Я сел на скамейку.

И Ванда села, потому что стоять в шалаше можно было лишь согнувшись. Мне было приятно смотреть на Ванду. Она сказала:

— Кушай фрукты.

Я взял айву. Повторил:

— Что в Туапсе нового?

— Пан Кочан бомбы разряжает.

— Дед Кочан?!

— Да.

Дед Кочан вовсе не был похож на деда, а, скорее, на подростка, если, конечно, смотреть со спины или изда- лека. Он поднимался в гору широкими шагами, слегка сутулясь. И руки его, длинные, как у обезьяны, почти касались земли. Мы никогда не видели деда празднично одетым, неторопливо шествующим с бабушкой Кочанихой. Всегда быстрый, в серой, словно несвежей, одежде, он первически отвечал на наши «здравствуйте» и проходил мимо.

Они жили по правой стороне улицы, на три дома выше нас. В их саду росли огромные деревья черешни- дички. Такие огромные и плодоносные, что бабушка Коча- ниха разрешала лазить на них всем мальчишкам и дев- чонкам с улицы. И сама почти ежедневно таскала дичку ведрами на базар. И все равно черные и сладкие плоды оставались на ветках до поздней осени. К сожалению, они висели очень высоко, у самой макушки. Птицы были проворнее нас и лакомились ими даже тогда, когда золу от сожженных листьев уже развеял по двору ветер.

Дед Кочан работал печником. И деньжата у него во- дились. И хотя он был большим мастером, но выпивал крепко. А потому не пользовался общественным автори- тетом: его никогда не выбирали ни в райисполком, ни в горсовет, ни в народные заседатели, ни даже в члены месткома. И конечно же, никто не думал, что в самые страшные для города дни дед Кочан станет героем. Соб- ственно, «дед Кочан», «бабушка Кочаниха» — это были уличные прозвища. Говорят, что дом, который купили дед и бабушка, принадлежал каким-то Кочановым и новых жиль- цов соседи тоже почему-то стали называть Кочан, Коча- ниха. Настоящее имя деда было Алексей, фамилия — Бошелуцкий. Он умер после войны, лет через восемь, не намного пережив бабушку Кочаниху.

Так вот, в те дни, когда город бомбили по шесть, по семь раз в сутки, дед Кочан разряжал невзорвавшиеся бомбы. Ежедневно он проделывал это десятки раз. Его привозили к объекту чуть ли не на машине самого председателя горисполкома Шпака, потом все прятались, а дед оставался наедине с бомбой. Откапывал ее, закуривал и тяжелым, им самим придуманным ключом выворачивал взрыватель.

Словом, дед оказался что надо!

— Пойдем к нему, — предложил я Ванде.

Бабка Кочаниха стояла возле калитки, повернув голову налево, смотрела в низ улицы. Поджидала деда. Увидев нас, она стала расспрашивать про Георгиевское. Я рассказал, как нас там бомбили. Выслушав, Кочаниха заметила:

— Я твоей матери говорила: из дому срываться — и людей вытруждать, и наалкаться вдоволь можно...

От бабки Кочанихи я часто слышал негородские слова. И еще она любила пословицы, поговорки. Тогда, вздохнув, она раздумчиво произнесла:

— Беремечко — тяжелое времечко.

Потом спросила:

— Хотите варенья из вишни?

Мы, конечно, хотели. Но не ответили ничего.

Бабка пустила нас во двор, посадила за стол, похожий на козлы. Принесла пол-литровую банку, на две трети заполненную вареньем, и ложки. Мы не заставили себя уговаривать. Выплывая косточки, я рассказал, как нас пугнули в Георгиевском при ночном налете. Бабка Кочаниха и Ванда смеялись до слез.

Смеркалось, когда пришел дед Кочан. Он был маленько навеселе. Зеленая гимнастерка, без петличек, сидела на нем ладно, но была в глине и копоты, и сапоги припылились густо. Он улыбнулся бабке, а глаза хоть и сузились, но остались грустными и усталыми.

— Вычаяли наконец-то, — сказала бабка Кочаниха. — Думали, и ночевать не придешь сегодня.

Дед покачал головой.

— Вот, — бабка показала на нас, — дожидаются. Говорят, дед теперь герой. Посмотреть на тебя охочи...

— Милые вы мои, — произнес дед немного нараспев.

Он обнял нас за плечи. Потом, словно пошатнувшись, отступил к стене и вынул из карманов две авиационные мины.

Бабка Кочаниха побледнела, точно замаскировалась под известь, и, ахнув, схватилась за живот натруженными ладонями. Может, полагала, что он лопнет у нее от страха.

Дед сказал:

— Милые дети, возьмите. Чем не игрушки?!

Мины были синие, размером с пол-литровые бутылки. Белые стабилизаторы казались маленькими коронами.

— Что напрасличаешь, вычадок старый? В голове у тебя хоть маленько осталось? — запричitala бабка Кочаниха.

Дед запротестовал:

— Зря нервы изводишь. Мины безопасные.

И в доказательство он грохнул одну о землю.

Бабка перекрестилась и, бормоча молитву, поплелась в комнату. Дед авторитетно сказал:

— Они без взрывателя. Я из них взрыватели еще в девять часов утра вывернул. Берите. Таких игрушек в Туапсе, пожалуй, ни у кого нет. А кто знает, есть ли еще где вообще...

— А страшно, пан Кочан? — спросила Ванда.

— Что страшно?

— Выворачивать взрыватель.

Дед почесал нос:

— Верю я словам своей бабки. Она меня каждое утро напутствует: не доглядишь оком, заплатишь боком. Поэтому и не страшно, что гляжу...

3

Ночью нас подняла тревога. Под одеялом было тепло, и постель обнимала бока так мягко. Но сирена выла и выла, и паровозные гудки басами вторили ей. О том, чтобы не бежать в щель, конечно, не могло быть и речи. Как назло, штанина брюк подвернулась. Я злился, сидя на кровати. А в комнате темно. И свет нельзя включить, потому что мы легли с открытыми форточками и окна наши не замаскированы. Тем более что большущее окно в маленькой комнате можно запластать лишь театральным занавесом.

Наконец я натянул брюки, а Любка не стала одеваться. Завернулась в байковое одеяло и пошлепала в щель.

Мать еще запирала дверь, когда в небе заметались прожекторы и несколько раз хлопнули зенитки.

Щель наша была вырыта под ранней белой черешней, возле забора Оноприенко, узкая, Г-образная траншея, перекрытая накатом бревен, который в свою очередь был притрушен желтыми комьями глины.

Ковальские уже сидели в конце щели: Беатина Казимировна посветила нам фонариком. Она сэкономила батарейку, приберегая ее для ночных тревог.

Ванда захныкала:

— Как это хорошо, не бояться тревоги ночью. Я, наверное, никогда не буду такой счастливой.

— Лучше пусть бомбят весь день, — подхватил я, — только бы выспаться спокойно.

Зенитки не стреляли. И гула самолетов не было слышно. Лишь шумели цикады и какие-то птицы. В щели пахло сырой землей. Разговаривать не хотелось.

Любка, которая была в одеяле, улеглась. Мать сказала:

— Простудишься.

Но Любка ответила, что лучше подохнуть, чем так жить.

Немного спустя издалека мы около часа слышали безудтишную канонаду. Видимо, немцы бомбили аэродром в Лазаревской.

Я стал зябнуть и вылез из щели. Запрыгал, чтобы согреться. Ванда показалась за спиной. Пожаловалась:

— Я скоро стану маленькой старухой.

— Зачем? — спросил я.

— Ты думаешь, старятся от возраста?

— Факт.

— Нет. Вот и нет. Старятся от переживаний.

— А ты не переживай.

— Чемодан, — сказала Ванда.

— Где чемодан?

— Ты рассуждаешь, как чемодан.

— Чемоданы не рассуждают.

— Однако ты рассуждаешь, значит, и чемоданы рассуждают.

Я погнался за ней. Мокрые ветки хлестали меня по лицу, по рукам. Ванда смеялась и пряталась между кустами. Воздух был очень свежим и очень чистым, как до войны. Худые лопатки Ванды двигались под платьем.

Я не догнал ее. Она сама остановилась. Я схватил ее за плечи и впервые ощутил, как приятно (даже защемило сердце!) пахнет она вся.

Светало. Но солнце еще не пришло. И трудно было различить, где кончается небо, где начинается море. Мать крикнула из щели:

— Степан! Ванда!

Но тут опять загудели паровозы. Только не так тревожно, как прежде.

Отбой!

Позавтракав, я вышел во двор и, осмотревшись, нет ли чего подозрительного, шмыгнул в подвал. Низкая притолока оставила на моем чубе кусок паутины. Я пригнулся сильнее, запустил пальцы в волосы и с отворачиванием пытался нащупать паутину. Я терпеть не мог пауков и только делал вид, что не боюсь их.

Ящик, прикрытый грязным, рваным мешком, стоял в углу. И мешок лежал чуть наискосок, точно так, как я тогда набросил. Пришлось прикрыть за собой дверь и даже запереться на ржавый, тонкий, как червяк, крючок. Свет просачивался только сквозь щель в двери, потому что стены подвала были бетонные. В углу, где стоял ящик, густела темнота. Я зажег спичку, заглянул на дно ящика. Все мои «сокровища» лежали на месте. Тогда я вынул из-за пазухи гранату, которую накануне выторговал у шофера, и положил в ящик.

Ванда увидела меня, когда я вылезал из подвала.

— Что там делал? — поинтересовалась она.

— Искал напильник, — ответил я первое, что пришло в голову.

— Только испачкался.

А Ванда была чистенькая, в полосатом лилово-сиреновом платице с белым воротничком и неизменным бантом — сегодня розового цвета. Она вертела в руках ключ.

— Угадай, что за ключ?

Я был недоволен тем, что Ванда уже дважды замечала меня в подвале, поэтому раздраженно ответил:

— От уборной!

— Глупо! — вспыхнула Ванда.

— Пани... — усмехнулся я.

Она понурила голову, пошла, села на лавочку. Я повертелся немного возле подвала. Выглянул за калитку.

На улице никого нет. Потом мне стало жаль Ванду, я пришел к ней и сказал:

— Согласен с тобой. Извини...

Ванда укоризненно посмотрела на меня. Тихо призналась:

— Я так расстроилась.

— Невыдержанный, — пояснил я. — Другой раз скажу что-нибудь, а уж потом подумаю.

— Так же нельзя, — перепугалась Ванда.

— Думаешь, можно? Сам понимаю, нельзя. Только вот что-то не срабатывает во мне. А вдруг верно: Любка меня психом называет.

— Не торопись. Зачем, как пулемет, тарахтишь? Я раньше у тебя каждое третье слово не понимала,

— И сейчас не понимаешь?

— Привыкла.

— Значит, правда, когда привыкают к человеку, то не замечают его недостатков.

— Конечно.

Было часов десять утра. Но небо хмурилось. И солнце точно состязалось с облаками. Порой опережало их, и тогда четкие тени ложились к нам под ноги; но чаще облака обгоняли солнце, и становилось пасмурно, будто перед дождем.

— Этот ключ оставила тетя Ляля, — сказала Ванда. — Она разрешила мне приходить к ней в дом, играть на пианино.

— Эвакуировалась?

— В Сочи.

Тетя Ляля помнится мне маленькой, круглой, пожилой женщиной, которая одно время учила и меня, и Ванду, и еще много других ребят игре на пианино. Я около года учил нотную грамоту. И даже однажды выступал в Доме пионеров, исполнял что-то в четыре руки с какой-то малокровной девчонкой.

Жила тетя Ляля рядом с бабушкой Кочанихой в небольшом зеленом домике при саде, в котором росло очень много низких вишен. Тетя Ляля, судя по всему, происходила из старой интеллигентной семьи. Она понимала толк в манерах и воспитании. И наговорила Беатине Казимировне много лестного о Ванде, и я лично слышал, как она сказала, что Ванда ведет себя, словно маленькая леди.

Еще запомнились мне альбомы с фотографиями. Эти альбомы принадлежали рано умершему мужу тети Ляли, о котором она всегда говорила с большим почтением.

Тетя Ляля относилась к нам хорошо, ибо боготворила Ванду, а меня считала мальчиком сносным. Так и говорила:

— Без способностей. Но не самый плохой на этой улице.

Я понял, что Ванда не прочь пойти в дом тети Ляли и хочет, чтобы я тоже пошел.

— Ванда, если у тебя есть желание постучать по клавишам, то нечего здесь сидеть. Но лично я к ним и не притронусь.

— Мы можем посмотреть альбомы и книги. Пошарить по ящикам. У тети Ляли много прехорошеньких мелочей.

— Она будет ругаться.

— Откуда она узнает?

Ванда вскочила со скамейки:

— Я только принесу свои ноты.

— Зачем они?

— А мама?

Она вернулась с черной папкой, которую держала за длинные шелковистые шнуры.

Беатина Казимировна высунулась из окна, прикрытого тонкой, ветвистой алычой, что-то сказала дочери польски.

Ванда с нарочитой вежливостью кивнула головой.

Я спросил:

— Мать чем-то недовольна?

— Она сказала, если будет тревога, чтобы мы быстрее запирали дверь и спешили в щель.

Крыльцо немножко поскрипывало, низкое, выкрашенное яркой коричневой краской. А сам домик был зеленым и казался игрушечным. На пианино лежал слой пыли, не очень густой, но разобрать, что я написал пальцем на крышке, было можно.

ВАНДА + СТЕПАН =

Я посмотрел на Ванду. Она вытянула мизинец и быстро закончила: ДРУЖБА.

Кажется, у меня порозовели уши, во всяком случае, у нее порозовели точно. Не вытирая пыль, Ванда осторожно подняла крышку, села на круглый вертящийся стул и заиграла несложную гамму.

Я стоял за ее спиной и смотрел то на пальцы, быстро бегающие по клавишам, то на бант, похожий на бабочку из сказки. И не заметил, как в комнату вошли три красноармейца. Все трое молоды и как-то очень похожи друг на друга. У них были винтовки и скатки и вещевые мешки. А Ванда не видела, что они вошли, и продолжала играть. Они некоторое время стояли молча. Потом один из них прислонил к стенке винтовку. И тогда Ванда заметила всех. Растерянно сказала:

— Добрый день.

Красноармеец спросил:

— Можно, я сыграю?

Ванда уступила ему место. Он сел за пианино, в скатке и при мешке. И сыграл «Синий платочек», а потом «Чайку». Быстро, с душой.

Потом он поднялся, опустил крышку. И конечно, увидел, что на ней написано. Он взял винтовку и, когда они уже выходили, вдруг повернулся и сказал:

— До свидания, Степан.

Ванда стояла пригорюнившись, обхватив пальцами подбородок, и мизинец, на котором еще остались следы пыли, оттопырил.

Красноармеец добро усмехнулся и добавил:

— Береги Ванду. Она у тебя хорошая.

4

Мне почему-то помнится — и, вероятно, так оно и было, — что погода в ту пору и в августе, и в сентябре, и в октябре хвасталась теплом, бабьим летом, золотой осенью. И винограда чернело видимо-невидимо, потому что много, очень много домов поровнялось с землей, и сады раскинулись беспризорные. Заборы исчезли. Горные улицы напоминали один большой сад.

Нижний город был разбит еще сильнее. В центре остались считанные дома да деревья с порубленными ветками, которые осколки срезали очень просто. Поперек улиц вытянулись баррикады с пустотами амбразур; у первой школы, напротив милиции, вырыли огромный противотанковый ров. Залитый дождями, он еще долго гнил даже после войны. Из железнодорожных рельсов на машзаводе варили треногие ежи. Они стояли десятками на перекрестках, мрачные и тяжелые. Люди ходили с противогаза-

ми и пропусками. В городе был введен комендантский час.

Мать теперь работала в столовой военфлотторга. Любка валялась дома: в комнате на кровати или в гамаке под деревьями. Я бродил по нашему саду, а иногда забирался и в чужие сады, так, от нечего делать. Если была сирена, мы прятались в щель.

Однажды выше нас, за колодцем, разбомбили дом. Мы ежедневно ходили к колодцу с ведрами. Колодец был неглубокий, обшитый деревянным срубом, потемневшим и обросшим зеленым мхом. Вода в колодце, холодная, прозрачная, едва прикрывала дно. Она не успевала накапливаться, потому что водопровод в городе не работал, и к колодцу ходили люди с нескольких улиц.

Невдалеке от колодца, метров на пятьдесят ниже, жил большой парень лет пятнадцати — Васька Соломко. В детстве он упал с дерева. И с тех пор его били припадками. И когда они случались, то на Ваську страшно было смотреть. А вообще он был хороший малый, только немного заикался, но охотно выручал малышей из беды — сердце у Васьки стучало доброе и справедливое. Он то и дело собирал разные штучки, имевшие спрос среди пацанов. С ним всегда можно было обменяться той или иной вещью.

Я размахивал пустым ведром, и оно издавало кричающий металлический звук: кря-кря, кря-кря... Солнце припекало мне в спину. Земля пахла очень хорошо.

Возле дома и на крыльце Васьки не видно. Я крикнул:

— Вася!

Потом еще:

— Вася!

И еще:

— Вася!

— Ну, чего кричишь? — спокойно спросил Васька Соломко, появляясь из-за дома. Он шел тихо, словно крадучись. И едва заметно улыбался. Возможно, из-за природной вежливости, а может быть, общение с нами, мальчишками, доставляло ему удовольствие.

Я сказал:

— Здравствуй, Вася!

— Объявился, значит, — ответил Васька, присел на порожек и устремил свои белесые глаза на меня: — Рассказывай, рассказывай...

- А чего рассказывать?
- У-у-езжал куда-то... в Георгиевское.
- Мать заставила. Боялась, что меня разбомбят.
- Значит, правильно. Мать нужно слушать...

Васька почесал затылок. Потом вынул из обтрепанных брюк обломок напильника, размером с палец, за ним — сизый, как дым, кремьень. Трахнул по кремью напильником. Посыпались искры: с десяток сразу. Спросил:

- Слабó?
- Слабó.
- Сменяем?
- Не на что.
- Так и поверю...

Я опустилсЯ возле ведра на корточки. Пристально, словно гипнотизируя, стал смотреть на Ваську:

- Что просил, достал?
- Мо-может быть, достал.
- Врешь.

— М-мое дело, значит, — осторожно заметил Васька и даже перестал улыбаться.

- Сам обещал. — Я поднялся и взял ведро.
- Ракетница устроит? — спросил Васька.
- Ра-кет-ни-ца? — недовольно протянул я.
- Нет, значит... А ты скажи, зачем тебе пистолет? —

вскочил Васька, и глаза его заметались.

— Да ты что, Вася? У нас же договор был — полная тайна!

— Ладно, — вздохнул Васька, — был договор. Но пистолета я еще не достал. Самолет немецкий на Пролетарской улице упал. Пока прибежал туда — людей десятка два и милиция. Пу-пу-лемент снять можно было, а пистолеты ни-икак...

— А если самолет упадет поблизости? Здесь, на улице Красных командиров...

— Тогда другое дело. Однако они, значит, больше в море падают да в горы...

- Ракетница хорошая? — спросил я.
- Хорошая. Только не стреляет.
- Брак, — приуныл я.
- Курок обломан. Но ручка из кости.
- Покажи.

Васька покачал головой:

- Нужно выяснить, на что меняться будем.

— У меня кинолента есть, одна часть. «Боксеры» называется.

— Посмотреть, значит, надо.

— Пожалуйста. Правда, мы с Вандой немного оторвали, там, где надписи. Ух! И горит она, Васька. А запах — удавиться можно.

— Приду, — сказал Васька. — Сегодня вечером, значит.

— Договорились, — сказал я. И пошел к колодцу.

Прежде чем набрать воды, я решил посмотреть дом, который недавно разбомбили. Бомба, скорее всего, угодила в трубу, потому что обычно трубы оставались торчать, как кресты на кладбище, а тут весь двор был усеян кирпичной крошкой; и листья виноградные, и лозы были присыпаны розово-желтой пылью. Когда-то виноград оплетал дом со всех сторон, подбираясь, наверное, к самой крыше. Теперь же подмятые рухнувшими стенами лозы прижимались к земле, образуя огромное круглое гнездо с развалинами в центре.

Было что-то тревожное в этой моей вылазке. Я подумал, сейчас что-нибудь случится. И мне стало чуточку жутко. Ведь если сюда никто не приходил, в подвале или в погребе могут томиться люди. И я услышу их хриплые стоны... Что-то шевельнулось под обломками. Я почувствовал дрожь в коленках. И пот, холодный пот, бросился из меня вон, словно крыса с тонущего корабля. Я перевел дыхание. Вылез кот. Старый, пушистый. Дымчатого цвета. Посмотрел на солнце. Прогнул хвост. И медленно пошел в кусты.

Я вспомнил, что жильцы этого дома эвакуировались еще месяц назад. И конечно, никто не мог здесь погибнуть. Сделав шаг или два, я внезапно поднял голову вверх... И среди широких виноградных листьев увидел ножку ребенка, обутую в красную туфлю. Я сжался. И не сразу разглядел, хотя это было очевидно, что в винограднике застряла кукла. Когда я взял ее в руки, кукла открыла глаза и посмотрела из-под черных изогнутых ресниц голубым взглядом.

— Какая же ты красивая, — сказал я.

Кукла ничего не ответила.

Я перевернул ее, осматривая, нет ли где повреждения, а кукла плаксиво выдавила: «Ма-ма!»

Ну и дела. Я даже вздрогнул. Я, конечно, знал, что существуют говорящие куклы, но позабыл.

— Ладно, — сказал я. — Не пищи... А тебе все-таки досталось, бедняжка.

Мне, честно, стало жаль куклу, потому что сзади платье было пробито осколком и нога левая немножко поцарапана.

Я принес куклу домой. Сказал Любке:

— Заштопай.

— Где ты ее взял?

— Нашел.

— Вот я скажу матери, что ты ширыряешь по развалинам.

— Матери и без этого трудно.

— Какой сознательный!

— Заштопай, — повторил я.

Любка вертела куклу. Несколько раз заставила ее пропищать «мама», потом сказала:

— Это мне?

— Держи карман шире, — выпалил я.

— Ванде?

Я промолчал.

— Да... Что с тобой будет, когда ты вырастешь?

— Стану летчиком.

Любка не ответила... Поняла, что бесполезно. Для своих восемнадцати лет она была на редкость понятливой.

— Ладно, — сказала Любка, — кукле сошьем новое платье. Дыра большая.

Стены стали синеть, и лишь пятно у самого пола продолжало оставаться розовым, потому что дверь в первую комнату была открыта и окно отбрасывало кусок заката.

— Степан!!!

Васька кричал с середины улицы. Он всегда кричал, не подходя к забору, и стоял чуть согнувшись, раздвинув ноги, словно собирался с кем-то бороться. Я увидел его в окно. Васька не смотрел на наш дом, а кричал так, будто я находился внизу, под горой.

Любка спросила:

— Что у тебя общего с этим психопатом?

— Не женского ума дело, — буркнул я и вышел на крыльцо.

Оно было у нас бетонное, с человеческий рост. Без перил. Вместо них белые широкие ступеньки поджима-

лись массивными гранеными брусьями. Брусья были чуть выше ступенек, и, если не жалеть штаны, можно бы и не пользоваться ступеньками, а съезжать по брусьям.

Васька по-прежнему глядел в сторону моря. И что было сил орал:

— Степан!

— Закрой пасть, — сказал я.

И Васька закрыл. Я поманил его рукой:

— Иди во двор.

Васька аккуратно открыл и закрыл за собой калитку. Приблизился, как всегда, неслышно.

При заборе росли мелкие розы: белые и красные. Они плелись, точно виноград, и лозы у них были очень похожими на виноградные. Я сел на лозу в таком месте, где нас не было видно из окон дома. И Ваське предложил сесть.

— Показывай.

— Хи-итренький, — пропел Васька. — А может, у тебя никакого кино и нет.

— Я ракетницу тоже не видел.

— Сколько ни говорить, а с разговором сыту не быть, — сказал Васька, сорвал розочку и принялся вертеть ее, как пропеллер.

«Упрямый осел», — подумал я. Но в подвал пришлось идти.

Васька открыл коробку, долго нюхал пленку и даже пытался рассмотреть кадрики, однако ночь вырастала из-за горы, и темнота наступала быстро, и Васька разочарованно вздохнул. Я решил, что он сейчас отмочит какую-нибудь глупость, попытается набить цену своему товару, но он, не говоря ни слова, вынул из кармана ракетницу и положил мне на ладонь.

— Ну как?! — спросил он.

Ракетница была хороша.

— Не стреляет, — сказал я.

— Твоя кино тоже не движется.

— По рукам, — сказал я.

— По рукам!

Сделка состоялась.

5

Свои физические возможности я представлял. На турнике выжимаюсь двадцать раз. На брусках — шестна-

дцать. Стометровка — тринадцать секунд ровно, как у черепахи. Плаваю, ныряю. Результаты назвать не могу. Однако час на воде продержусь. Это, конечно, козырь, если придется участвовать в десанте.

Одному оказаться в городе под бомбежкой — вот что мне необходимо. О том, чтобы дома не спрятаться в щель, и говорить нечего. Рука у Любки была тяжелая. И потом, она не разбиралась в средствах. И могла ударить меня погой, и кружкой, и палкой... Значит, нужно было под благовидным предлогом улизнуть в город, дожидаться тревоги и где-нибудь спрятаться совершенно одному.

Все устроилось само собой. Пока я думал, как мне отпроситься в город, из военкомата сообщили, что в столовой военторга для детей офицеров выдаются ежедневно обеды. Мать велела ходить за ними Любке. А я не беспокоился. С такой лентяйкой, как наша Любка, всегда можно договориться.

Так и вышло. Дня через два я сказал Любке:

— Что ты — лошадь? Ходишь и ходишь... Путь не близкий. Давай лучше я сбегаю.

У сестренки глаза увлажнились:

— Золотце, а не братик.

В макушку меня на радостях поцеловала.

На Сочинском шоссе уцелело рядом несколько домов. В одном из них открыли столовую. Повариха в несвежем халате плеснула в мой бидон две поварешки жидкого супа, и я пошел домой. Я решил на первый раз не задерживаться в городе, чтобы Любка доверяла мне и пользовалась моими услугами охотно.

Времени было около трех. Сирена лишь на несколько секунд опередила хлопанье зениток. Самолеты шли с моря, оттуда, где висело солнце. Сосчитать машины не удалось, потому что солнце беззаботно прикрывало их своей ладонью. И тогда я впервые понял, что оно светит не только для меня.

Я как раз пересекал улицу Энгельса и поравнялся с трансформаторной будкой, которая много лет стояла в маленьком скверике. Вокруг трансформаторной будки росли акации, на металлических, окрашенных в стальной цвет дверях были нарисованы молнии и человеческие черепа и было написано: «Не трогать! Смертельно!»

На углу, через дорогу, там, где сейчас мебельный магазин, соседствовали пивная и хлебный ларек. Окна в

пивной были закрыты желтыми деревянными щитами, а возле ларька стояла короткая очередь. Как только завывала сирена, люди разбежались.

Я не думал, что в меня может попасть бомба. Но боялся осколков от наших же зенитных снарядов. Оглянувшись, я не нашел ничего лучшего, как перебежать через улицу и прильнуть к пивному ларьку, крыша которого карнизом выступала над стенами.

Узкий, изъеденный дождями тротуар коробился, уползая в центр, к телеграфу, и битое стекло, сверкая и переливаясь, лежало на нем, словно Млечный Путь.

К телеграфному столбу была приклеена листовка: «Каждый камень, вложенный в стройку, каждый метр вырытой земли — удар по гитлеровским бандитам!»

Осколки секли воздух. Но я не чувствовал опасности до тех пор, пока один из них не черкнул о стену рядом со мной и не упал возле пог, изломанный, темный, дымящийся. Я двинулся вдоль стены, ткнулся спиной о дверь, и она подалась во внутрь, потому что была незапертой. Две бочки возвышались перед стойкой. И пивной насос, похожий на пулемет, стоял прислоненный к узкому шкафчику без двери. В шкафчике висел белый халат с испачканным в черное подолом. Я поставил бидон с похлебкой на стойку. Качнул первую бочку, вторую. Пустые.

Зенитки стреляли остервенело. Но немцы не бомбили. И в этом было что-то нехорошее. Мне никогда не приходилось слышать, как шипят бомбы. Потому что если бомбы шипят, а не свистят — это очень плохо. И вот я услышал шипение, нестрашное, так обыкновенно шипит у перрона локомотив, выпускающий пары. Конец, решил я. И упал между бочками.

Я не могу сказать, сколько раздалось взрывов, потому что грохот стоял сплошной. И сколько времени это длилось, не знаю. Возможно, несколько секунд. Но у меня не было часов, и секунды могли казаться вечностью.

Когда я вскочил на ноги, то ничего не слышал, точно у меня лопнули перепонки. В пивной стало светло: двери не было и в стенах зияли пробоины размером с мою голову.

Стоя между бочками, я увидел, что дом, возле которого находилась пивная, разбит. И пыль еще не осела. И стены выступали, словно из тумана.

Может, я вспомнил рассказ одного раненого бойца (мы ходили в госпиталь всем классом, и я даже пел там «Раскинулось море широко...», только на другие слова: про Одессу, про Севастополь), что в бою солдаты нередко прячутся в воронках от бомб или снарядов, потому что попадания в одно и то же место случаются редко. Конечно, я ничего не вспомнил, но, видимо, этим можно объяснить, что, подгоняемый страхом, я выбежал из пивной. И, прыгая с камня на камень, с обломка на обломок, кинулся в разрушенный дом. Однако как у меня оказался пивной насос, я объяснить не могу. Факт остается фактом: я бежал, держа насос наперевес, как оружие.

Через пролом в стене шмыгнул из развалин и забился в угол. Пыль оседала медленно. И от нее першило в горле. А бомбы свистели, и земля дрожала очень сильно. Когда же пыль поредела и бомбы стали выть далеко, как шакалы, хотя зенитки и продолжали надрываться изо всех сил, я увидел, что сижу невдалеке от белого, точно присыпанного мукой, сейфа. И какой-то мужчина, смачно матерясь, пытается взломать его.

«Мародер!»

Я издал нечеловеческий возглас и ринулся вперед...

Возможно, он принял меня за сумасшедшего или пивной насос за пулемет, но он убегал до самого телеграфа, пока мы не наткнулись на дежурных из местной противовоздушной обороны.

Потом выяснилось, что это вовсе не мародер, а даже очень хороший человек, который пекся о важных документах и, не дождавшись отбоя, поспешил в развалины. Верно, он был сильно близорук и слаб сердцем. И ему при мне сделали какой-то укол, чтобы он пришел в себя после кросса, который я ему устроил.

Весельчаки-дежурные утверждали, что он принял меня за немецкий десант.

Бидон с похлебкой куда-то пропал. В пивной я его не нашел. Так окончилась проверка силы моего духа...

6

— Ванда дома?

Я впервые стучался в дверь к Ковальским. Мы всегда встречались с Вандой в саду, но сегодня она почему-то не приходила. И Любка заставила меня одеться во все

новое, умыться, причесаться и, волнуясь, взойти на эти ступеньки.

Беатина Казимировна вздернула брови, она была поражена, но, видимо, приятно. Во всяком случае, она серьезно улыбнулась. И сказала мне, как взрослому:

— Пройдите.

Но ступил я, точно годовалый ребенок, неуклюже, зацепился за половик, едва не шлепнулся. И кукла сказала: «Ма-ма».

Она была у меня за спиной, обернутая в хрустящую слюду. Очень красивая. В новом платье, шитом Любкой из голубого крепдешина.

В квартире пахло табаком. Беатина Казимировна курила.

— Ванда! — громко позвала она.

Молчание.

— Ванда! К тебе пришли.— Беатина Казимировна повысила голос.

Ванда показала в другой комнате. Остановилась на пороге. Недовольная, с красными заплаканными глазами.

— Чего? — спросила глухо и неприветливо.

Я хотел, чтобы все скорее кончилось, и поэтому не стал дольше прятать руку за спиной. Протянул Ванде куклу и протарахтел, как меня учила Любка:

— Ванда, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья, успехов в учебе, счастья в жизни. Прими подарок!

Но Ванда не приняла, а залилась жгучими слезами и убежала. Я готов был провалиться в подвал. Тем более что там стоял мой драгоценный ящик, а возле него я чувствовал бы себя увереннее, чем здесь.

Беатина Казимировна взяла у меня куклу и очень собранно сказала:

— Спасибо, Степан. Кукла очаровательная. Как ты ее назвал?

— Я об этом не думал...

— Хорошо, Степан. Садись на стул, посмотри журналы. Ванда сейчас придет.

Беатина Казимировна унесла куклу в другую комнату и плотно прикрыла за собой дверь.

Не помню, какие лежали на столе журналы, но на одном из них был нарисован пузатый Геринг, который смотрел в небо, и вместо облаков над ним витала петля. Все было угадано правильно!

Ванда вышла. Она была одета уже в другое платье, сшитое из черной материи, тонкой, кажется шелковой, с выбитыми сложными рисунками внизу и на груди. На этот раз она была приветлива и держала куклу очень бережно.

— Мы назовем ее Инна, — сказала Ванда.

Так звали ту девочку, которая мне нравилась и которая уехала к папе в Архангельск.

— Как хочешь, — согласился я.

И это немножко разочаровало Ванду. Но когда мы вышли во двор, она все же не стерпела:

— Что-то давно ты не хвастался письмами из Архангельска!

— Ванда встала сегодня не с той ноги, — заметила Беатина Казимировна. Она еще не закрыла за нами дверь.

Ванда повела плечиками. Побледнела. Девчонка-злючка! Даже ноздри расширились.

Мы молчали на скамейке долго. Наверное, с полчаса. Потом я не вытерпел и решил открыться:

— Хочешь, сегодня Краснину в сад гранату бросим?

Она повернула ко мне голову, нацелилась, словно собиралась расстрелять. И твердо сказала:

— Хочу.

— Вечером, когда стемнеет...

— У тебя есть граната?

— Да. И запалы есть.

— Шутишь.

— Нет. Поклянись мамой и папой, что никому не скажешь.

— Эта была самая страшная клятва.

— Клянусь, — сказала она.

— Нет. По всем правилам.

— Клянусь мамой и папой, что никому никогда не скажу о том, что узнаю от Степана.

Я повел ее в подвал. И открыл тайну ящика.

— Здесь целый склад! — удивилась она. — Зачем тебе столько?

— Так нужно...

Тогда она шепотом сказала:

— Клянись мамой и папой, что никогда, никому не выболтаешь.

Я поклялся.

— Хорошо, — удовлетворилась Ванда. — Знаешь, почему я поссорилась сегодня с мамой?

— Нет.

— Она не разрешала надеть мне это платье. Правда, несправедливо? Ведь сегодня мой день рождения.

— Взрослые судят по-своему.

— Я с ней часто ссорюсь, — сказала Ванда.

Когда мы вылезли из подвала, платье Ванды было в пыли и в паутине. И я тоже был весь в паутине. И за кустами мы долго очищали друг друга.

Ванде исполнилось двенадцать лет. На девять месяцев она была старше меня. Но угадать это не смог бы никто. Потому что Ванда ходила нежная и хрупкая, как Мальвина из «Золотого ключика». А я... Я вымахал, словно бурьян в огороде. И еще был загорелым — от загара все кажутся немножко взрослее. А к Ванде загар не приставал. И лицо ее по-прежнему оставалось светлым, но, конечно, гораздо темнее, чем волосы, потому что волосы совсем выгорели от солнца и стали не белыми и не желтыми, а какими-то немытыми, но это была неправда, так как Беатина Казимировна два раза в неделю заставляла Ванду мыть голову дождевой водой и ежедневно умываться с мылом, что на самом деле было большим неудобством. И я сочувствовал Ванде, когда она жаловалась:

— У меня лицо ни в жизнь не загорит: Я же каждый вечер смываю загар. Не веришь? А это правда. Смотри, ведь ноги у меня немножко загорели.

И она приподнимала платье, показывая круглые колени и ноги повыше коленок, которые были совсем другими, чем внизу, полными и ни капельки не загорелыми.

7

Стук топора слышался долго. Сумерки уже отгуляли свое. Подкрадывалась темнота. Ванда нервничала. Беатина Казимировна могла позвать ее ужинать, и тогда Ванда не увидела бы, как граната разнесет в щепки дровяной склад Красниина. Конечно, она услышала бы взрыв, панику... Но Ванда была не согласна:

— Это же лучший подарок. Лучше, чем кукла.

А топор все стучал, мерно, неторопливо. Красниин, который при моей памяти никогда и нигде не работал,

любил делать все не спеша и аккуратно. Из-за дома я видел, как он ложил на пенек чуть привяленный ствол дубка и рубил его, почти не размахиваясь, маленьким острым топориком. Поленья укладывал в штабеля. Их было уже много, этих штабелей, целый городок.

Прожектор метнулся по небу и уперся в море, но темнота еще только-только подступала, и луч был бледным. Словно поразмыслив, он постоял на месте. И начал медленно скользить над волнами, которые были такими маленькими, что различить их из нашего сада было невозможно.

Красинин отложил топор. Вынул кисет... Противный старикан. Я вчера сказал ему:

— Вы слышали, дед Кочан бомбы разряжает.

— Алкоголик, — пренебрежительно отозвался Красинин. Прислонил лестницу к стволу сливы и полез к веткам.

— Зачем вы их срываете? — спросил я. — Все равно продавать-то некому. А съесть не съедите...

— Блин не клин, брюхо не расколется, — ответил Красинин.

Тогда я сказал:

— А вы бы не стали разряжать бомбы.

— Точно. Ни за какие деньги...

— Струсили бы.

Он посмотрел на меня сверху вниз, стоя на лестнице. Повесил солдатский котелок на ветку. Внятно сказал:

— Пошел вон, сопляк.

И вдруг не выдержал, заорал:

— Витька! Ступай в дом!

Он не хотел, чтобы Витька играл с нами. Может, рассчитывал, что, заняв город, немцы обязательно повесят и меня, и Ванду, и Любку, потому что наши отцы офицеры.

Ванда шепнула:

— Уходит.

Пыхтя самокруткой, Красинин шел садом, направляясь к своему дому, стоявшему за отгородкой.

Граната, завернутая в виноградные листья, лежала возле скамейки. Запал я держал в нагрудном кармане куртки. В последний момент решил снять чехол с гранаты, чтобы осколки не поразили нас. Но чехол снимался туго. А Ванда торопила. И я не вытерпел и грубо сказал ей:

— Помолчи.

Затаив обиду, она нахмурилась, но не ушла домой. Она думала, что я попрошу прощения. И я, конечно бы, извинился, если бы в спешке не забыл это сделать.

Мы пришли к крестовине, где сходились четыре забора, перелезли в покинутый соседский сад. Я сказал Ванде:

— Ложись.

Она легла лицом вниз, возле самого забора. Я вставил запал, повернул ручку гранаты вправо, резко бросил ее. И слышал, как она щелкнула. Я упал рядом с Вандой и даже успел положить ей руку на спину, когда раздался взрыв.

Буквально в ту же секунду мы услышали голос Беатины Казимировны:

— Ванда!

Тишина после взрыва. И затем испуганно:

— Ванда!!! Ванда!

Она видела, как мы перелезали через забор.

— Что вы там делали?

— Играли, — растерянно сказала Ванда.

Беатина Казимировна смотрела на дочь в упор. Я прислушивался к тому, что происходит во дворе Красининых. У них в доме хлопали двери.

Красинин что-то сказал. Невестка громко добавила, она вообще была горластая тетенька:

— Да и тревогу объявить проспали. Я и свиста не слышала.

Красинин заметил:

— Видать, разведчик. Сбросил и улетел.

Невестка ужаснулась:

— Еще бы пятнадцать метров — и в дом.

— Все тридцать будет...

— К Красининым бомба упала, — сказал я Беатине Казимировне.

Она взглянула на меня чуждо, ничего не ответила. Кинула Ванде:

— Иди в комнату!

Витька подошел к забору, радостно сказал:

— Степан! Слышь, Степан... К нам бомба упала. Все дрова дедушкины разнесла.

— Повезло, — сказал я.

Витька кивнул:

— Конечно.

— Могла бы и в дом.

— Фи! У нас крыша железная.

Я пришел домой. Сквозь стены все было слышно. Но там разговаривали по-польски. И я понял лишь, что Ванде очень обидно и она горько плачет.

Поздно, когда я уже лежал в кровати, Беатина Казимировна приходила к моей матери. Они о чем-то шептались в первой комнате.

8

Не спалось. Ветхие, разошедшиеся ставни были размазаны рассветом: на каждой ставне по шесть узких вертикальных полосок — оттенков мыльного пузыря. Когда я поворачивал голову, полоски смещались вправо или влево, или исчезали совсем. В непроветренной комнате пахло одеялами и простынями. Было еще темновато. И Любка сопела, уткнувшись в подушку.

Я спустил босые ноги на пол, холодный и гладкий, и с удовольствием прошлепал в первую комнату, которая одновременно служила нам кухней и спальней для матери.

— Разведи примус, — сказала мать. Она никогда не говорила: зажги примус, протопи печь. «Разведи» было ее обычным словом в сходных случаях.

Мать чистила картошку. У нас в семье все любили картошку, особенно жареную. Большие, как кулак, клубни выглядывали из миски, заполненной водой.

Крыльцо было влажным от утренней росы и не очень белым. Поднявшись на носках, я достал кисть винограда, прохладную и матовую, и принялся есть виноград, выплевывая шкурки. Дворняжка Чушка преданно смотрела на меня и не гремела цепью, а сидела смирно и заглядывало мне в рот такими умными глазами, словно просила винограда. Сунув ноги в сандалии, я сбежал по ступенькам, показал Чушке язык, она ответила мне тем же и приветливо забила хвостом о землю. Я расстегнул ошейник. Чушка взвизгнула, метнулась по саду. Видимо, псине осточертело сидеть на цепи под сливой.

Почтовый ящик висел у калитки. Покосившийся, дырявый. Письма размокали в нем, когда шли дожди. Я заглянул в ящик, хотя точно знал, что там ничего нет, потому что проверял его содержимое вчера вечером. А почту теперь приносили раз в три-четыре дня.

Дед Кочан шел из дому. Я сказал ему:

— Здравствуйте.

В ответ он мотнул головой, как бодливая корова, и поспешил вниз.

Я вспомнил про примус и поднялся на крыльцо. Мать вышла из комнаты:

— Беатина Казимировна жаловалась, что вы плохо вели себя.

— Я вел себя хорошо.

— Ты так думаешь?

— Нет. Считаю...

— Смотри,— сказала мать.— Ванда — старше тебя. Она девочка.

— Ясно, что не мальчик,— огрызнулся я.— И при чем здесь старше?

— А то, что девочкам, с которыми ты станешь дружить, когда вырастешь, сейчас еще по пять, по шесть лет.

— А если я не вырасту? Если меня на куски разнесет бомба? Тогда что?!

— Я ничего. Конечно, дружите. Ванда — умная...

Мать обычно отступала. Ей достаточно было Любки...

...К девяти часам мать пошла на работу. А в девять тридцать объявили тревогу. Любка еще долго причесывалась. И я сидел в щели один. Потом пришла Любка. Беатины Казимировны и Ванды не было. Я высказал удивление. Любка, не могу точно определить — то ли с веселой издевкой, то ли с легкой наглостью,— ответила:

— Больше не увидишь Ванду. Думаю, беспочвенное подозрение... Но Беатина Казимировна считает, что ты...

— Я знаю, что она считает. Этого не было.

— Верю. Но ты же целовал Ванду.

— Она сама хотела.

В щель через вход проникало солнце. И пригревало часть стены, видимо одну пятаю. И глина там была сухая, и камни сразу стали сыпаться, когда земля вдруг задвигалась, словно закипающая кукурузная каша. Ни я, ни Любка вначале даже не поняли, что происходит. Ведь секунду назад даже зенитки не стреляли. Любка сразу нахмурилась, схватила мою голову, прижала к себе. И я ничего не видел. Но почувствовал, что-то вкатилось в окоп. А Любка как заорет:

— Бомба!

Но это была не бомба, а дворняжка Чушка. Она жа-

лобно скулила. Я высвободил голову из рук Любки. И мы оба принялись успокаивать и ласкать собаку. Потом бомба зашипела. И земля вздрогнула, как тогда в пивной. Ясно, попадание в наш сад или даже в дом. Мне стало страшно за Ванду. Но вырваться из насиженного окопа, кинуться в ад, кипящий там, наверху, было стыдно. Я выглядел бы, по крайней мере мне так казалось, смешным, вломившись в квартиру Ковальских с криком: «Торопитесь в щель!» И дочь и мать могли подумать, что меня контузило.

— Это благоприятно, раз Чушка с нами,— сказала Любка.— У собак чутье на безопасность. Ты видел хоть одну собаку убитую?

— Кошку видел.

— Кошки — другое дело. А собаки знают, где прятаться.

Бомбы опять засвистели. Стали падать где-то дальше. И земля больше не вздыхала так тяжело, словно ее и не рвали на части.

Позднее Любка уверяла, что она услышала рыдания еще до того, как Ванда прыгнула в щель. Я же вначале увидел тень от банта, которая метнулась по солнечной стене, и только потом — Ванду.

— Ма-мо-чку убило-о,— заикаясь от рыданий, протяжно вымолвила Ванда.

Любка обняла ее за плечи. И Ванда плакала, уткнувшись ей в грудь. По лицу Любки, сделавшемуся вдруг некрасивым, покатились слезы. И я понял, что она тоже еще маленькая девочка.

Сегодня, в эту минуту, самый старший здесь я. Мужчина. Только коленки у меня все-таки дрожат, незаметно, точно струны на балалайке. Я поднялся, переступил через Любкины ноги и сказал:

— Чушка, пойдем.

Но дворняга виновато смотрела мне в глаза, не двигалась с места, предательски скулила и царапала глину лапами.

Самолет с черным крестом на брюхе шел совсем низко, оставляя за собой курчавый, дымный след. Я решил, что он врежется в гору, но он не врезался, а словно через силу взмыл вверх и на полпути к облакам взорвался, ярко и внезапно. И тела летчиков кувыркались в разные стороны.

Я закричал: «Ура!» И пусть Любка подумала, что меня разбомбило, и выскочила из щели. Но страх умер. И я едва сдерживал слезы радости.

В наш дом бомба не попала. Но она упала рядом, у сливы, где всегда была привязана дворняжка Чупка. И от сливы не осталось ничего. Просто голое, как колено, место. Крышу дома сорвало, исчезла и стена. И наша кухня стояла раскрытая, точно чемодан без крышки. Штукатурка и в первой, и во второй комнате покрыла пол толстым грязным ковром. Покореженные кровати были отброшены взрывной волной к противоположной стене, пух от перины еще кружился по комнате и возле дома.

Квартира Ковальских пострадала меньше. Если не считать исчезнувшей крыши, то у них только повыветили стекла да стены, всего лишь в нескольких местах, были порваны осколками. Один из осколков, величинной с пятак, пробил затылок и горло Беатине Казимировне. Она умерла мгновенно, не успев даже закрыть глаза.

Мы трое стояли возле кровати, на которой вся в крови лежала Беатина Казимировна, и не знали, что же делать, потому как зенитки еще стреляли и самолеты гудели в воздухе, хотя больше и не бомбили.

— Кто здесь живой? — вошла баба Кочаниха.

Увидев Беатину Казимировну, запричитала:

— Матерь божья, царица небесная... Что же деется? Возле моей калитки гречанка убита...

— Какая гречанка? — не поняла Любка.

— Старая... Что с корзинкой ходила. Одна голова-то и уцелела. Господи, где там мой дед? — схватила рукой за лицо, перекрыв рот, и долго-долго качала головой.

Любка хотела пощупать пульс.

Ванда сказала:

— Зачем? И так видно.

И опять заплакала навзрыд. Рыдание Ванды вывело бабку Кочаниху из забытья. Она воскликнула:

— Вы же горите, дети!

Оказалось, горит сарай. Трухлявый и маленький, которым никто никогда не пользовался и даже не складывал туда хлам. Но сарай примыкал к стене дома, и ясно, что огонь нужно было тушить.

На счастье, бочка была полна дождевой воды, застарелой, в которой плавали виноградные листья и головасти-

ки. Мы таскали ведрами воду. Баба Кочаниха заливала сю огонь. Обгорелые доски фыркали и шипели.

Красинин прибежал с топором. Принялся рубить стойки, так было разумнее всего преградить путь огня к дому.

Потом я увидел мать. Вначале она была белой, как молоко. А немного позднее лицо у нее покраснелось. И она беззвучно плакала и как-то так, между делом, выбирала из дому вещи...

От кого она узнала там, в столовой, что бомбы упали на улице Красных командиров, не ведаю. Может, она просто почувствовала это, догадалась... Может, накануне ей снились плохие сны, в которые она так верила. Мать есть мать.

Я старался не смотреть на нее. Я думал о ящике в подвале, где хранятся патроны, гранаты, ракетница. Думал о том, что я напрасно собирал все это. Жаль, очень жаль! Но завтра я не убегу на фронт, потому что детство мое сегодня кончилось...





ЕЖ С ДАЛЬНОГО БЕРЕГА

1

Осины танцевали. Они разворачивались легко-легко. И неожиданно подминали траву с шумом, напоминающим всплеск. В такт и совсем не в такт стучали топоры. Осины еще не понимали, что с ними случилось, и листьями подмаргивали небу. А небо было равнодушное, как пустыня. Синяя пустыня, где не за что зацепиться взору.

Я снимал кору малой саперной лопаткой. Водитель, солдат совершенно мне незнакомый, сидел на краю амфибии, свесив босые ноги. Для сооружения лагерной столовой требовались жерди. Нас, шестерых из взвода, послали на этот берег. Водитель был чужой. Он перевез нас через реку. Холеную и широкую. С названием, которое сразу и не вспомнишь, — Вуокси.

Мы приехали форсировать эту реку. С учебной целью. В сорок четвертом здесь было страшное дело. Пятнадцать лет! Немалый срок. А мин, гранат, снарядов — как луж после дождя. Толик Сажин — взводный агитатор — нашел пулемет «максим». Бугристый от ржавчины и грязи. Чехол разворочен. Прямое попадание. Мы оставили пулемет на том берегу...

Сейчас Сажин рубит осины. Мне не хватило топора. Приходится заниматься черной работой. Кора распространяет запах, от которого першит в горле. Жерди — гладкие и светлые, будто кости. Потом они потемнеют, как надкушенное яблоко.

Жарко...

Водитель сосет сигарету с фильтром. Я прошу закурить.

— Взбирайся, — предлагает он.

Я хватаюсь за железную кромку борта и тут же, сжавшись, разжимаю пальцы.

— Горячо, — осклабился водитель.

Но через секунду я уже сижу рядом с ним. Он оторвал газетку, трухнул махорки. Жмот. Жаль сигареты. А махорка и у меня есть. Но я не говорю об этом водителю. Я вот такой — стеснительный...

Наверху хорошо. Припекает. Мир кажется шире. И река какая-то уютная. Оба берега словно на ладони. Полуостров — зеленое сердце — лежит километра два вниз по течению. И вдруг — взрыв!

— Саперы! — говорит водитель. — Видишь, развалины... Женский монастырь был. Одурманенные бабенки. Оборонялись до последнего. Пока тяжелую артиллерию не подтянули, взять не смогли.

— Знаю, — соврал я. — Отец тут воевал.

Соврал я наполовину. Отец действительно воевал в Карелии. Был ранен. И даже форсировал какую-то речку. Но была ли это Вуокса или другая речка, я не знал. Тем не менее словно кто-то щекотал мне язык. Чувствуя потребность высказаться, неодолимую, как призвание, я продолжал:

— Батина рота первой монастырь заняла. В подвалах вино хранилось. Столетней давности...

Я врал бесцельно. Так срывают травинку у обочины и потом сосредоточенно покусывают, словно в этом особая необходимость.

— А монахини? Небось хорошенькие были.

— Всякие... — Я не стал разочаровывать водителя и сообщил ему несколько «любопытных подробностей», вычитанных в «Декамероне».

Теперь он смотрел на меня уважительно. Достал пачку сигарет. И сказал:

— Что махра? Закуривай!

Мы курили и беседовали. Я, когда начинаю врать, совершенно не теряюсь, а, наоборот, говорю с подъемом и воодушевлением.

В таких случаях время летит быстро...

Умолк стук топоров. Из лесу показался Толик Сажин. Голый по пояс, он нес что-то завернутое в гимнастерку. Осторожно, не разворачивая, положил гимнастерку на амфибию. Потом, крикнув, взобрался сам. Нужно было бы переменить разговор. Но я уже не мог остановиться и тархтел, как заведенная игрушка.

— Здорово! — выслушав мой рассказ, заключил Сажин. У него цепкий ум. — Здорово! Прямо находка. Будешь живым примером к моей очередной лекции.

Я, кажется, говорил, что он — взводный агитатор.

— Сын героя, штурмовавшего монастырь! — продолжал Сажин. — Отец и сын. Преемственность традиций! Слушай, а не написать ли о тебе в окружающую газету?

— В газету не надо, — поспешил возразить я. — По физио у меня пара... Строевая, сам знаешь...

— Да, — задумался Сажин, — для газеты ты мелковат. Но в плане взвода... Не возражай!

Он видел, что я хотел возразить. Я открыл было рот. Но вдруг гимнастерка Сажина шевельнулась, стала больше в размерах и, крадучись, поползла вперед.

— Толик?!

Сажин с подчеркнутой осторожностью схватил гимнастерку двумя пальцами и потянул к себе, приговаривая:

— Стоп, разбойник.

С сияющими глазами и улыбкой, широкой, я бы сказал, детской в своей наивности, Толик развернул гимнастерку, и мы увидели ежа. А правильнее — пук иголок, торчащих в разные стороны.

— Какой же ты непричесанный, — ласково вздохнул Толик.

— Оборону занял, — сказал водитель и пустил в ежа струю дыма. Еж вздрогнул и чихнул. Совсем как кошка или собака.

Водителю понравилось. Он сделал вторую затяжку. Но Сажин грозно сказал:

— Хватит!

— Зачем он нам? — спросил я Толика.

— Будет жить в палатке.

С Толиком трудно спорить. В его голосе и во внешнем облике есть что-то властное. Сказал — как отрезал. Его уважают во взводе все. Я горжусь нашей дружкой. Она началась по дороге в часть, когда мы оба были еще в гражданском. Помню, достали свои авоськи и потчевали друг друга домашней снедью.

Мы были ровесниками. Но Толик выглядел старше меня. Опытнее. Он часто рассказывал о девушках, с которыми встречался. А мне нечего было рассказывать. Когда мальчишки и девчонки из нашего класса повадились на танцы, я гонял мяч. Футбол был моим основным занятием. В перерывах между таймами я посещал школу. Не думаю, чтобы из меня когда-нибудь вышел Пеле или хотя бы Понедельник... Едва ли. Но в десятом классе во время матча с нефтяным техникумом я был сбит на штрафной площадке. Мой напарник, Витька Кривобоков, блестяще пробил одиннадцатиметровый. Но меня... Меня не вынесли с поля. Просто, опираясь на чье-то плечо, я ушел с переломанной рукой. Семейный совет был коротким и решительным. Победила линия матери. Моя футбольная карьера оборвалась.

И никто не жалел об этом. Только Динка Сорокина — самая некрасивая девчонка в нашем 10 «Б» — подошла ко мне на перемене и сочувственно спросила:

— Больно?

И от этого мне стало еще больнее, потому что Динку я называл за глаза «мартышкой» и вообще не считал человеком.

Подобно камню с неба, на втором году моей службы свалилось письмо от Динки. Почтальон, разглядев на конверте женский почерк, воскликнул:

— Наконец-то наш Юра получил письмо от девушки!

Динка писала, что учится в пищевом институте, что на каникулах встретила мою мать и узнала адрес. Она поведала о судьбе одноклассников, прислала фотографию наших девчонок, ныне студенток. Их было восемь. Они стояли на берегу моря. И ветер надувал их платья.

— Где же она? — спросил Сажин. Он подошел сзади. Я не заметил этого. И не был готов к ответу. Ничего удивительного не было бы в том, покажи я на Динку и расскажи все как есть. Но Динка на фотографии вышла еще страшнее, чем в жизни. Я не мог перебороть себя.

— Вот.

В центре стояла статная, красивая девушка. Сажин внимательно, словно изучая, глядел на фотокарточку. Возвращая, сказал:

— У тебя изысканный вкус.

Я не знал, радоваться или огорчаться этому открытию.

— Как же ее зовут?

— Вика, — сказал я.

Ее на самом деле звали Вика. В наши дни она была самой популярной девушкой в школе. За ней бегали все старшекласники. Почти все. Она была красивой, капризной, ветреной. Мы учились с ней три года, но я не уверен, помнит ли она мое имя. Я никогда не был влюблен в нее. Она в меня тоже. Впрочем, однажды она обещала меня поцеловать, но...

Дело было так. Одно время Вика встречалась с Женькой Кашкиным из железнодорожной школы. Он был длинный малый и стоял в их команде в воротах. Прилично держал. Яшиным называли. Как-то за день до матча с железнодорожниками Вика мне сказала:

— Забей Женьке Кашкину гол. Я тебя очень прошу.

И глазами, как прожекторами, вертит. Вот злюка! Видать, поругалась с Женькой.

— Я тебя за это поцелую, — говорит. — Хорошо?

— Мне как-то все равно, — говорю. — Ты мне лучше переменный конденсатор достань.

Отец се — первейший радиолюбитель в городе. Другая после такого заявления обиделась бы, а Вика:

— Еще проще! Будет конденсатор.

На следующий день игра. Болельщиков — две школы. Мотаемся мы по полю. А дело не клеится. Насели железнодорожники. Прижимают нас к штрафной площадке. Случается, и мы атакуем. Но редко. Витька Кривобоков — наш центрфорвард — все время меня на прорыв выводит. А у меня игра не идет. Бегаю, как свинья по огороду, другим мешаю. Правда, раз удачно в девятку пробил. Но Женька Кашкин, словно стебель, изогнулся. И перебросил мяч за ворота.

Первый тайм 1:0 в их пользу. Сидим в раздевалке как оплеванные, виновных ищем. Вдруг прибегает Динка Сорокина и мне на ухо:

— Вика сказала, две лампы в придачу даст. Только забей.

Такое зло меня взяло. Хотел выругаться. Но директор школы вошел. Психологически поддержал нас.

Не помогло. Проиграли. Трижды один на один с Кашкиным выходил. Как подумаю о проклятом конденсаторе, ноги подкашиваются. И мимо... С тех пор с Викой я не здоровался. И она не замечала меня.

И вот сейчас я вспомнил о Вике. И не просто вспомнил, а стал врать, будто встречался с ней. Это была какая-то особенная ложь. Метаморфоза. От Вики я оставил только имя и внешность. Характер же ее, интересы, биографию я придумал на основе своего представления о хорошей девушке. Вика жила на свете и не жила. Если бы случай свел нас, я бы мог познакомить с ней Сажипа. И ему, вероятно, потребовался бы не один день, а может, и месяц, чтобы убедиться в подделке.

2

Дорога щетинилась короткой рыжей травой. Машины здесь почти не ходили, и земля была затверделой, с темными морщинками трещин. Дышалось легко. Роса освежила воздух. Но все вокруг пахло полынью и еще какими-то травами. Вечернее небо, в разноцветных пятнах, опиралось на лес, тот, осиновый, смотрящий на нас с противоположного берега. Мне почему-то казалось, что это не лес, а стена, а за стеной — город, деревянный, с узкими улочками, с чернобородыми купцами и грудастыми шинкарями. Я люблю придумывать такие штуки. Это, верно, оттого, что в детстве мне приходилось рассказывать сказки младшим братьям...

Я и Толик бродим за лагерем. Мы разговариваем о полетах в космос. Мы, конечно, дилетанты. Поэтому нам кажется, что высказываем умные и дельные мысли. Мы чувствуем себя удовлетворенными, как, допустим, пара пианистов, сыгравших что-то сложное в четыре руки.

В прогулках перед поверкой — своя прелесть. Они служат разрядкой после перегруженного учебной дня. А дни по-настоящему тяжелые. Во-первых, жара; во-вторых, траншеи. Их приходится рыть заново. Быстро и аккуратно. Демаскировка недопустима! В-третьих, учение показательное. Приедут гости. Мы репетируем тщательно. По несколько раз в день собираем и разбираем лодки. Са-

димся в них и вылезаем. Все делается в полном снаряжении. При скатке. К обеду устаем изрядно.

Вернувшись в палатку, мы кормим ежика. Он тихий и грустный, его с трудом удается выманить из-под нар.

Ежа увидел сержант Стрелков, человек на редкость культурный и мнительный. Воспитанный в старой музыкальной семье, он любил играть на рояле. А рояля с нами не было. И сержант Стрелков тяжело переживал это. Он резко отличался от других сержантов. И не только тем, что носил очки. Даже такие команды, как «Равняйся», «Смирно», где, казалось бы, кроме зычного голоса, ничего и не требуется, он подавал по-своему — мягко, интеллигентно.

Он увидел ежа и вежливо спросил:

— Скажите, пожалуйста, где вы взяли это млекопитающее?

— На том берегу.

— Не гуманный поступок... Несчастный... Там у него нора. Может, детиски есть. Где ваши головы?

Это был риторический вопрос. Головы находились на месте.

— Еж может плавать, товарищ сержант?

— Не думаю... — Сержант Стрелков направился к выходу, потом, словно осененный внезапной мыслью, остановился: — Вдруг он инфекционный?..

— Выпустим, — сказал Сажин. — На этом берегу приживется.

Еж сидел на полу, не шевелился. Ему было невдомек, что мы решаем его судьбу. Может, он просто скучал по дому. Я тоже скучал. Мне стало жаль ежа, и я сказал:

— Переправим на тот берег...

Однако сделать это в оставшиеся до начала учений два дня мы не смогли. Еж жил в палатке. Мы кормили его сухарями и сгущенным молоком, стараясь это делать так, чтобы не видел сержант Стрелков.

Ночью, накануне учения, я проснулся, бесшумно разыскал свой вещевой мешок и... спрятал туда ежа. Отряхнул руки и лег спать.

Нас подняли по тревоге.

Завеса тумана, густого и белого как соль, стояла над лагерем. Кое-где сквозь нее проступали стволы сосен, но не могучие двадцатиметровые, а маленькие, словно обуглившиеся, коротышки.

Все, что мы делали, совершалось так быстро, что нашему умению вскочить, одеться, построиться позавидовал бы любой цирковой жонглер.

Не удивительно, что о ежике я вспомнил лишь в тот момент, когда мы садились в лодку. Я пощупал левой рукой вещевой мешок и с ужасом обнаружил, что ежа в мешке нет.

В лодке, когда все уселись и загудел мотор, я еще раз прощупал мешок. Котелок, бритвенный прибор, портянки, книжка... Какая? О! Да это же не мой мешок! В суматохе я перепутал все на свете.

Лихорадочно смотрю на спины товарищей. Но ведь многие сидят и позади меня...

На берег выбрались удачно. Правда, я набрал полные сапоги воды и поскользнулся. Но это ерунда! Мы стремительно кинулись в проход, сделанный саперами в проволочном заграждении. И уже почти преодолели его, как вдруг бежавший впереди меня сержант Стрелков неожиданно повернулся. Остановился. Заморгал, словно нанюхался луку. И вскрикнул:

— А-а!

Конечно, никто бы не обратил внимания на этот вскрик в шуме и грохоте, царившем на берегу. Но отделение подумало, что сержант закричал «ура».

— Ура! — подхватило отделение.

И весь взвод поддержал. Один я молчал. Я знал крепкую волю нашего сержанта. И понял: еж всадил ему в спину не меньше двух десятков иголок. Я пробежал мимо сержанта, занял свое место в цепи. Оглянулся назад. Сержант уже развязывал вещевой мешок.

Я сознался, что спрятал ежа...

Вечером я заступил во внеочередной наряд на кухню.

3

На лысой лужайке, темневшей гнездовинами срубленного кустарника, желтыми скелетами возвышались сбитые из жердей столы и скамейки. Походная столовая не отличалась удобствами, хотя в ней было все, что положено всякой столовой.

Кургузые кухни за мелким березовым леском дымили круглые сутки. Их было много. Десятка два. Я обслуживал только три. Следил за огнем. Колот поленья. Ночью

меня «бросили на треску». Это фигурально. А практически — открыли бочку соленой трески и приказали разделять.

В ту пору ночи стояли белые. Может, не совсем. Но небо не темнело, а было мутно-прозрачное, словно тюль. Я брал треску за хвост, соскабливал чешую. Разрезал рыбину на три-четыре части и бросал в кастрюлю. И так до утра. Время тянулось медленно. Вспомнил Сажина. Он прибежал сюда перед самой вечерней поверкой:

— В понедельник беседа запланирована. Об отце расскажешь.

Я пожал плечами. Сажин вздохнул:

— Чертов еж! Угораздило тебя мешок перепутать.

— Ничего. Кому-то нужно готовить завтрак. Первым за добавкой прибежишь.

— Это верно, — согласился Сажин. И ушел спать.

Как характер Сажин сложнее меня. Он на земле обеими ногами стоит. У него ясные и твердые планы. Вернувшись из армии, он прежде всего женится. В Минске его ждет Омелия. Судя по его рассказам, это красивая и чрезвычайно интеллектуальная особа. Последние дни Сажин взволнован: отец Омелии продвинулся по службе, что неизбежно увеличит список поклонников дочери. Так считает Сажин. Мне этого не понять. Он опытный...

Я орудую ножом без передышки. Ломит под лопатками. А рыбы в бочке не убывает. Можно подумать, что соленая треска способна размножаться.

Повар присылает мне помощников. Двух веселых и неторопливых казахов.

Показалось солнце. Кажется, бочка поддается.

В обед Сажин принес мне письмо из дому. От отца. По довольной, готовой лопнуть от радости физиономии Сажина я понимаю, что он хочет что-то сказать еще.

— Ладно. Выкладывай, — говорю я. — А то взорвешься.

Он расстегивает нагрудный карман. Газета? Многотиражка Минского университета. Сажин тычет пальцем в небольшой снимок, где девица, похожая на лошадь, прыгает через планку.

— Омелия, — говорит он. — Растут люди.

Ну и вкус! Вероятно, не следует огорчать парня. Я подыскиваю тактичный ответ. Но заботливый повар вы-

ручает меня. Оказывается, нужно чистить котел. Я убегаю, так и не сказав ни слова.

К вечеру я еле держусь на ногах. Мир кажется скромным и будничным, лишенным романтических красок. Неужели для того, чтобы познать истину, следует разделать бочку трески? Как просто!

Наш старшина, мудрый и добрый, разрешает мне лечь спать, не дожидаясь отбоя. Я долго не могу уснуть. Погружаюсь в сон медленно, словно в мутную, теплую воду. Слышу, как в палатку возвращаются солдаты. Они раздеваются, стараясь не шуметь. Я подаю голос:

— Толик!

— Спи, — громким шепотом приказывает Сажин. И тихо добавляет: — Всем благодарность вынесли. Всем. И тебе тоже. Старшина в личную карточку записал. Стрелков никому про ежа не доложил...

Молодец сержант. Хороший парень. И вообще, все мы хорошие. Только с недостатками.

Вход в палатку еще не задернут брезентом. И я вижу кусочек неба. И звезду, повисшую на сосне. Яркую звезду, словно начищенную. Я знаю, что на звезде не может быть жизни, потому что она горячая, как наше солнце. Но вокруг нее кружат планеты. Я никогда не побываю на них. И даже не увижу. А если там, на невидимой планете, смотрит на наше солнце такой же парень, как я? С недостатками и курносый? Я б хотел, чтобы он крикнул мне: «Эй ты, парень! За миллионами световых лет я хочу иметь двойника получше. Слышишь, считаю до трех? Раз... два... три!»

— Толик, — решившись, говорю я. — А никакой Вики нет. Я придумал все.

— Знаю давно. Тебе какая-то Динка пишет. А зачем врать? Какая разница?

— Разница есть... Вика — мечта.

— Спи. — Он кряхтя снимает сапоги и вдруг испуганно спрашивает: — Слушай, может, ты и про отца соврал?

Я не вижу Сажина. Темно. Но я знаю, как удлиняется его лицо в момент растерянности.

— Нет, — говорю я. — Вот письмо. Отец форсировал Вуокси. Правда, гораздо севернее монастыря...

— Севернее?.. Ничего, сойдет, — успокоившись, говорит Сажин и ныряет под одеяло.

Я закрываю глаза. Мне делается легко, будто я совсем утратил вес. Внезапная радость комком подкатывается к горлу. Сквозь дрему я слышу, словно доносящийся издалека, тихий знакомый голос. Мой или нет?

— Толик, как ты думаешь, а ежи бывают счастливыми?..





МОСТ

Опрокинутое небо лежало на зеленых камнях. Камни, завернутые в водоросли, были круглыми и продолговатыми. Река шумела, мелкая, быстрая. Солнечные блики вспыхивали, точно перемигивались друг с другом. И небо купалось в бликах, вздрагивая, вертясь... Низкорослые кустарники стояли голые, как прутья. А листья прикрывали землю мягким коричневым настом, пахнущим осенней прелью. Недолго, очень недолго гостит лето в этих краях. Скоро спрячется солнце. И снега-метели станут хороводить долгой полярной почью...

Любомир сжимал пальцами перила моста. А когда он пришел в армию, перил не было. И моста тоже... Машина ехала бродом, и вода крыльями била из-под колес. А старшина Майоров сказал, что вот по этой хилой речушке семга — дорогая рыба — к месту нереста пробирается супротив течения. Так и сказал старшина: супротив...

И никто из молодых солдат, сидящих тогда со старшиной в машине, не знал, не ведал, что первый мост через эту шумливую речку будет построен их руками.

Вода была холодная. А течение — более быстрым, чем казалось со стороны. И камни скользили так, словно под ногами таяли льдышки. Тут не до смеха, если кто испулся. Быстрее растирайся полотенцем да меняй одежду.

Кто-то идет по мосту. За спиной. И Любомир не видит, кто идет. Но шаги не те, которые он ждет. Другие шаги. Так шагают люди, обутое в солдатские сапоги на резиновых подошвах, с белыми подковками на каблуках.

Точно. Старшина Майоров. Ну и ручища у него, хоть с лопатой сравнивай.

— Отбываешь, Соколов, значит... — говорит старшина и облакачивается на перила.

— Самому не верится... — сознается Любомир.

— Понятно.

Эх, старшина Майоров! Видно по глазам, хочет он еще что-то сказать, но, может, слов не подберет, может, стесняется. Удивительно, если стесняется... Наконец:

— Я ведь тоже не здесь родился. А когда приехал, вышел на дорогу с чемоданчиком в руках. Помню, еще в одежде гражданской. Посмотрел окрест. И честно скажу, приуныл... Справа — серо, слева — серо... Я ведь воронежский...

Старшина замолчал. Кашлянул. Потом спросил:

— Значит, по плотницкому делу продолжать хочешь?

— Плотник я.

— Хорошо это... А может, останешься? Стройка здесь большая предполагается. Одних жилых корпусов штук двадцать будет.

— Домой тянет, — сказал Любомир. — В места родные. Да разве все расскажешь... Не умею я складно говорить.

А зачем складно? Если просто так, своими словами.

Дескать, есть в Одесской области станция Веселый Кут. Не слыхал? Зря. Белые домики с крашеными ставнями, сады, виноградники, нефтебаза, элеватор, кукурузный завод... Скорый поезд останавливается здесь на одну минуту. С тяжким вздохом упадут на перрон бумажные мешки с почтой, кто-то суетливо вскочит в вагон, сжимая в потной ладонке билет... Громыхнет колокол. И последний вагон мелькнет за семафором; короткий вагон, будто срезанный...

Подростком Любомир охотно приходил к отцу на железнодорожную дорогу. Отец и по сей день работает стрелочником. А с сыном отец говорил:

— Слышал, как наш век люди умные кличут?

— Атомный.

— Атомный — само собой... Но главное — век автоматки. Так что, Любомир, либо на инженера учись, либо выбирай такую профессию, которая еще долго будет нужна людям.

Первая табуретка, сделанная собственными руками: выпиленная, выструганная, склеенная.

— Ставлю пятерку, — улынувшись, сказал мастер. — Крепко сработана.

Вытер со лба пот Любомир. Поднял табуретку и торжественно принес домой.

— Вот, мама... Примите подарок...

У матери слезы на глазах. От радости, конечно... В доме и получше вещи есть. Но табуретка — самая дорогая. Она и сейчас цела. Нет ей сносу.

Три года работал Любомир в колхозе. В строительной команде. Ставили баню, амбары, птицеферму...

Осенью поезд вез Любомира через всю страну. И чем ближе к северу, тем удивительнее и суровее становилась природа: серые камни, серые озера... И небо с низкими бескрайними тучами.

Север. При одном этом слове тоскливо сжималось сердце. Далекая земля. Безрадостная.

Но радость пришла. Нежданно... В пальто с белым воротником. В белой шапке из искусственного меха. Радость со звонким, как стук весенней капли, именем Майя.

Метеорологи жили за озером. Майя запускала зонды. И Любомир однажды помогал ей. Потому что был ветер. Нехороший ветер. И шар рвался в небо. И удержать его было трудно.

...Шаги. Ее шаги... Легкие и частые. Будто она едва касается земли. Девочка с шариком.

— Ты почему молчишь? — спросил он.

— Я не знаю, что говорить, — ответила она.

— Значит, все уже сказано?

Она кивнула. Грустно, обиженно...

— Они пролетят быстро — эти шесть месяцев. Сто восемьдесят дней...

— Сто восемьдесят два, — поправила она.

— Ты подсчитала...

— Здесь длинные зимы, — пожаловалась Майя. — Без солнца.

— Когда ты приедешь в Зеленый Кут, у пас будет весна. И молоко будет парное. И ты будешь пить его каждое утро...

— Не знаю.

— Почему? Ты не любишь парное молоко? Просто ты выросла в городе и никогда не пила настоящего парного молока. Правда?

Майя пожала плечами.

— Ты говори, — настаивал он.

— Все может измениться.

— Не понимаю.

— Это заметно.

Он, кажется, обиделся.

— Ничто не стоит на месте, — пояснила она. — Тут и понимать нечего.

— Ты разлюбишь меня?

Майя отрицательно покачала головой:

— Здесь тоже, между прочим, нужны плотники. И учиться можно в вечерней школе.

— Плотники везде нужны. И учиться везде можно.

— И девчонок везде хватает.

— Ты единственная...

— Не знаю.

— За такой ответ в школе двойку ставят. И не зря...

— А что зря?

— Зря ты киснешь... Это не я придумал правило, что после техникума нужно отработать два года, куда тебя пошлют.

— Я тоже это правило не придумала.

— Не будем винить друг друга.

— Я и не виню. Просто мне нужно уходить. У меня дежурство... Счастливого пути.

И опять шаги. И дорога...

Он много раз ходил по этой дороге. Ходил с ребятами, которых едва ли увидит больше. Потому что жизнь у всех разная. Потому что забываются адреса. Имена забываются тоже. Но это будет еще нескоро. А Вохина, верно, он не забудет никогда. Душевно пел парень под гитару:

‘ Я тоскую по родине,
По родной стороне своей...

Понятное дело. И сам Любомир тосковал шибко.

Как первые дни тянулись! Но в отделении ротных пулеметов новичка приняли хорошо. Солдаты здесь были асами, если к пехоте такое слово применимо. И Любомир не ударил в грязь лицом, старался.

Да ему, можно сказать, подвезло. Талант открылся — стрелка! Отлично! Бодрости поприбавилось.

И вдруг через неделю — полное разочарование. Рос парень не белоручкой. Крепкий, здоровый. Однако подошел к турнику, схватился за перекладину и... повис, как полотенце.

Но не тут-то было. Выручили терпение и упрямство. Каждый вечер перед отбоем вошло у Любомира в привычку заниматься на турнике. Заниматься так, чтобы темнела от пота рубашка... Усердие не пропало даром. В конце года на соревнованиях, честное слово, сам того не ожидал, занял второе место в части.

А потом еще одна неожиданность — звание младшего сержанта. Тогда-то и напоролся он на Вохина. Отделение, в которое Любомир был назначен командиром, оказалось трудным: люди собраны из разных подразделений, третьего года службы, разных специальностей. А Вохин... Работал он два с лишним года где-то по тыловой специальности. И лишь незадолго до демобилизации попал в строевую часть.

Гитара у него была кофейного цвета, со светлинкой под струнами. Владел он ею нельзя сказать, чтобы как бог, но прилично. И пел, словно цыган, неожиданно растягивая какую-нибудь букву. Ребятам нравилось. И они косо посмотрели на Любомира, когда он, прервав «сольный концерт» Вохина, сказал:

— Рядовой Вохин, возьмите ведра и принесите воды в бачок.

А за водой пужно было идти к колодцу, метров триста от казармы. И время позднее. И погода — дождь со снегом. Конечно же, Любомир мог назначить другого солдата из своего отделения, но он выбрал Вохина. И стало ясно, что новый командир — человек с характером.

Вохин дулся на Любомира. В кругу солдат называл его «салага». Но после того как на лыжном кроссе Любомир чуть ли не три километра протащил выбившегося из сил Вохина, состоялся такой разговор:

— Я, товарищ младший сержант, не сачковал. Я на самом деле плохо хожу на лыжах.

— Знаю, но удивляюсь. Это мне говорят солдат, три года прослуживший на Севере.

— Ошибочку делаете, командир, я два года хлеб пек.

— Сейчас вы в строевом отделении.

Вохин промолчал. Потом, заглянув прямо в глаза Любомиру, сказал:

— Тогда учите меня ходить на лыжах.

И потом была песня. Но Любомиру казалось, что голос у Вохина прорезался другой: чище и звонче. А может, это и не казалось Любомиру...

Грустно расставаться с людьми. Привыкнешь, сдружишься. Однако наступает время, и солдаты увольняются в запас.

Новое отделение. Новые заботы. Теперь у Любомира был небольшой, но полезный опыт. Было понимание: для того, чтобы добиться успеха, нужно сплотить ребят в одну дружную семью. Только с чего начать?

И случай представился...

Солдат Мебония совсем плохо говорил по-русски. На занятиях не мог понять самых элементарных вещей. Любомир начал заниматься с ним. Читал книги, объяснял правила правописания. Как-то подошел рядовой Тонаяп, говорит:

— Товарищ младший сержант, давайте я вам помогать стану. Русский язык — трудный язык. Одна голова хорошо, две лучше.

Хорошая пословица. Остальные ребята тоже, кто как умел, помогали. С тех пор в отделении стало законом: умешь сам — научи товарища.

Помнится... Клочки тумана висели над землей, словно выстиранные простыни. В сизом небе, подпаленном у горизонта, еще светили звезды. И травы были холодными и мокрыми от росы.

Солдаты в полном боевом поспешно строились в шеренги. Без лишних слов. Только топот сапог. И частое дыхание... Так началась инспекторская проверка. Подъемом по тревоге.

А потом была стрельба. Рядовые второго года службы выполняли ночные упражнения. До позднего вечера пробыл с ними на стрельбище Любомир. Он бы вообще не

ушел в каварму, но приказал командир роты. Спать! Ведь завтра должен стрелять он, командир отделения...

Долго не мог уснуть тогда Любомир. Солдаты вернулись в три часа ночи. Лица радостные. Говорят:

— Мало ругал нас, сержант. Отстреляли мы па двойки.

Шутят! Конечно, шутят! Все трое выполнили упражнение на «отлично». Почин сделан.

На другое утро по движущемуся бронетранспортеру первым стрелял рядовой Володов. Сверхотлично. Пробой больше, чем нужно для отличной отметки. Вторым на огневую позицию вышел Мебония. Тоже отлично.

— Ну, командир, мы сделали свое дело. Теперь твоя очередь. Иди...

Легко представить, что переживал в тот момент Любомир. Нужно отстреляться на «отлично». А дорога неровная. Мушка прыгает, точно живая. Но привыкаться можно и нужно. И главное — спокойствие... Появилась мишень. Выстрел...

В тот же день на стрельбище был срочно выпущен боевой листок, посвященный отделению младшего сержанта Соколова. Отделение во главе с командиром стреляло на «отлично»...

Разве вспомнишь все, что было за три года... Эх!

Под мостом по-прежнему шумит река. Но солнечных бликов на воде больше нет. И теней тоже... Дорога, спускаясь к мосту, круто взбирается на противоположном берегу и оборачивается развилкой.

Стоит над рекой мост. Дуют над ним ветры, плывут облака, падают листья. Катят по мосту машины, шагают солдаты... Надежен мост. И два берега, как один...

Это хорошо, если человек может построить мост. И не только мост от берега до берега... А что гораздо сложнее — от сердца к сердцу, от человека к человеку. Мост! А не зыбкую жердочку, которая может качнуться и упасть от первого же порыва ветра.

А уже темнеет. И автобус пройдет с минуты на минуту, и тогда решать уже будет некогда. Тогда решать будет поздно. И кричать слова прощания — просто смешно. Там, в домике за озером, их не услышат. Вот он, домик с желтыми окнами. И дорога туда прямая, гладкая, схваченная вечерним морозцем.

Качнул светом фар автобус. Поплыли куда-то в сторону настил моста и перила. Поплыли, словно во сне...

До свидания, автобус. Нам с тобою не по пути. Кажется, я на «ты» с этим краем, этой землей. Низким солнцем и голубикой... Ночами и просторами. Деревянным мостом, построенным мной и моими товарищами. Кажется, я еще много построю здесь. И домов. И бань. И табуреток. Здесь, на родине. На моей родине, на нашей.

Стук, стук... Откройте дверь, девочки. Не пугайтесь. Свои. А глаза у Майи и счастливые, и красивые, и цвета... Да при чем тут цвет! Любимые глаза. И все!





КОНВЕРТ С НЕЗАБУДКАМИ

У меня было ощущение, что я уже держал такой конверт в руках и видел ее почерк. Хотя я твердо знал, что никогда не читал ни одного слова, написанного ею...

Люда была высокой загорелой девушкой. Она заливала гудроном дорогу, по которой мы ходили в караул. Два раза в неделю меня назначали начальником сержантского караула. Когда мы шли по дороге, девчата переглядывались и пускали нам вслед веселые шуточки. Они были все чумазые, эти девчата, в комбинезонах, в тяжелых брезентовых рукавицах. И если бы не косынки, можно было подумать, что работают мальчишки-ремесленники.

Люда носила синюю косынку. И глаза у нее от этой косынки тоже становились синими, а если она повязывала голову зеленым платком, то глаза зеленели, словно листья. Словно клейкие весенние листья. Это было необыкновенно. И здорово. И все обращали на Люду внимание. И она, конечно, догадывалась об этом. Но не зазнавалась. Не то что другие...

Я никогда не слышал, чтобы она лично острила по нашему адресу. Но она всегда радовалась метким репликам подруг и смеялась звонким, задиристым смехом.

— Поэтическая натура! — сказал о ней старший сержант Зяблик.

Он служил здесь третий год и был знаком со всеми девушками.

— Познакомь...

— Нравится? — мрачно усмехнулся Зяблик. — Здесь многие по ней вздыхают. И все из-за глаз. Она мне поначалу тоже приглянулась.

Зяблик замаялся и полез в карман за папиросами.

— Ну и как?

— У меня система, — недовольно ответил Зяблик.

— Что за система?

— Система взглядов на любовь и дружбу... Я, понимаешь, как корабль, не люблю ржаветь в одной гавани.

— Это, конечно, личное дело, — сказал я. — Вольному воля.

— А познакомиться с ней очень просто, — сказал Зяблик. — Приходи к ним в общежитие. И читай стихи. Только выразительно, с душой. Людка стихи пуще всего на свете любит. Сама говорила.

Девчата жили в дощатом бараке, выкрашенном известью. Рядом с баракком росла береза, а внизу был пруд.

Когда я пришел, девушки стояли под березой, образовав круг. Увидев меня, одна девчонка вскрикнула:

— Ай!

И все остальные повернулись ко мне, заслонили кого-то.

— Чего пришел? — спросила девчонка, увидевшая меня первой.

Я сказал:

— На танцы.

Девчата засмеялись. От группы отделилась девушка. Я с трудом узнал Люду. На ней было полосатое платье с большими карманами и модные туфли.

— Проваливай, — негромко сказала она. — Ты что, глухой?

Она взяла меня за локоть и повернула кругом.

— Я не глухой. Я пришел почитать тебе стихи.

И в доказательство я вынул из кармана томик стихов Есенина. Люда сказала:

— Стихи потом. А пока иди к пруду и почитай там. Потренируйся, чтоб лучше получалось...

Я ушел. И больше не делал попыток ухаживать за

Людой. Девушки закончили ремонт дороги на нашем участке и теперь работали где-то дальше.

В свободные от службы часы я беседовал с сержантом Зябликом на общечеловеческие темы. Наши мнения о девушках совпали. Девушка, подобная Людмиле, решили мы, не способна на нежные и глубокие чувства...

Однажды часов в шесть вечера, когда мы с Зябликом сидели в курилке, возле нашей казармы остановился красно-белый автобус, какие обычно ездят в городе. Из него вышли курсанты военного училища. Как выяснилось, они приехали к нам на стажировку. И был среди них один парень по имени Роман. Веселый такой, с юмором... И вот знакомство с этим Романом сыграло в моей жизни большую роль. Уж он так хорошо про курсантскую жизнь рассказывал! Так хорошо, что я подал заявление в военное училище.

Через месяц пришел вызов, в котором сообщалось, что я должен явиться в училище для сдачи вступительных экзаменов.

Ехать до станции мне пришлось машиной. На этой машине привозили почту. Почтальон был толстым парнем. С первого дня службы он стал почтальоном. И не знал ни подъёмов, ни отбоев. Вероятно, он родился в рубашке. Привилегированное положение испортило почтальона. Он стал нахальным и ленивым, как бегемот. Он очень любил себя и совсем не любил быструю езду. Сначала мы остановились у военторга, где почтальон поболтал с двумя знакомыми продавщицами. Потом нам встретился киномеханик. Почтальон курил с ним и рассказывал анекдоты...

Минут через тридцать мы выбрались на шоссе. И кажется, решили ехать без остановок.

Я был в кузове один. Сидел, подложив под себя скатку, спиной к кабине. Прямо надо мной плыло большое белое облако. Оно было такое важное и величественное, что закрывало половину неба. И рассматривать его можно было, словно картину. Но тут машина внезапно затормозила. Я стукнулся затылком о кабину и в душе выругал шофера.

— До станции? — услышал я женский голос.

— Ага! Садись в кабину, — ответил почтальон. — Мы потеснимся.

— Нет. Я в кузов...

Не выдавая себя, я с любопытством ожидал, кто же будет моей попутчицей... Вижу, за борт ухватились две руки, потом показалась синяя косынка. Синие глаза... Это была Люда. На ней то же полосатое платье с большими карманами. Пристально посмотрела на меня и наконец сказала:

— Где я вас видела?

Я усмехнулся, достал из кармана томик есенинских стихов и предложил:

— Хотите, я почитаю вам стихи...

Люда смутилась. Она, конечно, сразу вспомнила. Сказала:

— Вы тогда обиделись? Это я так... перед девчатами. Они меня за атаманку считают.

— «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым...»

Люда, как показалось мне, вначале опешила, но потом, догадавшись, что это стихи, подседа ближе. Я уступил ей скатку. Она поблагодарила. А я читал... Нельзя сказать, что я умею читать. Во всяком случае, на сцену меня не выпускают даже в солдатском клубе. Однако Людмиле мое чтение нравилось.

И это вдохновляло меня. Я видел ясно, как ее большие и красивые глаза то печалились, то вдруг озарялись светлой радостью. Виноват во всем был Есенин. Но тем не менее я уже начал жалеть, что уезжаю отсюда.

Дорога шла лесом. Летели листья, потому что была осень. Листья были желтые, красные, зеленые. Они падали в машину. А один лист попал в волосы Люды. Она не замечала этого. А ей очень шло так. На ее месте я бы всегда носил лист в прическе.

Она не переставала восхищаться Есениным. Некоторые стихи я перечитал ей еще и еще... Я сказал, что это сержант Зяблик рассказал мне о ее любви к стихам. Он ведь тоже любитель поэзии.

— «Любитель»... — возразила Людмила. — Прочел два стихотворения и руки распускать начал.

— Это у него такая привычка, — сказал я.

— Плохая привычка... А знаете, — сказала она, — до сегодняшнего дня я не любила стихов. А Зяблику просто так сказала. Но он шуток не понимает.

Я согласился, что Зяблик действительно не Аркадий Райкин.

Потом Люда спросила, который час, и сказала, что она очень, очень торопится.

— К поезду мы успеем, — ответил я.

— У нас разные поезда.

— Вечером здесь проходит только один, — возразил я.

И тут опять ударился о кабину. Машина остановилась.

На дорогу вылез толстый почтальон и сказал мне:

— Полезай в кабину.

Я не ожидал такой доброты и сказал:

— Спасибо. Мне и здесь хорошо.

Люда одобрительно улыбнулась. Почтальон смотрел на меня и незаметно подмигивал. Видя, что с таким же успехом он может подмигивать телеграфному столбу, почтальон сказал:

— Ну, живо! А то ссажу с машины. Потопаешь на одиннадцатом номере.

Он подтянулся на руках и влез в кузов. Сел на корточках рядом с Людмилой и сказал мне примирительно:

— Не будь лопухом!

— Твое счастье, — ответил я, — что я уезжаю из этой части. Но не доехать мне до станции, если я не напишу письмо командиру полка. Попадешь в строевую роту — скромнее станешь!

Почтальон растерянно моргал. Он не ожидал такого оборота. Его красное мясистое лицо посерело от злости.

— Поехали, — сказала Люда. — Я опаздываю...

Почтальон демонстративно молчал. Он достал папиросу и закурил.

Я крикнул:

— Шофер, поехали!

Я уже второй год носил погоны сержанта, и голос у меня был поставлен крепко.

Поддействовало. Машина поехала. Мы втроем сидели в кузове и молчали.

Через четверть часа показалось деревянное здание станции. Мы остановились на привокзальном пятачке. Я первым спрыгнул на землю и помог Людмиле. Мы пошли с ней к вокзалу. Я слышал, почтальон сказал шоферу:

— Как таких лопухов земля носит, не знаю.

Я не обернулся. Не захотел связываться.

Мы вышли на перрон. Станция была пустынна. Только на запасных путях стояли коричневые вагоны, в кото-

рых жили дорожные рабочие. Тут же, за путями, паслись козы.

Люда беспомощно оглянулась, потом, увидев дежурного по станции, подбежала к нему и что-то спросила. Дежурный отрицательно покачал головой.

Люда вернулась веселой. Она тепло смотрела на меня. И я, осмелев от этого взгляда, совершенно искренне сказал:

— Люда, через пятнадцать минут придет мой поезд, и я уеду. Давайте переписываться. Если я поступлю в училище, то через год приеду сюда за вами.

Люда улыбнулась, покраснела. Краснела она удивительно мило. И ответила:

— Нет.

— Мы мало знаем друг друга, — сказал я. — Это правда. Но мы будем писать друг другу. Ведь письма тоже многое значат. Не всегда то, что напишешь, осмелишься сказать в глаза. А писать мы будем только правду.

Еще минуту назад я не думал говорить этого. Слова сами выскочили. Я смотрел в глаза Люды. И мне казалось, что я обязательно уговорю ее.

— Нет, — повторила Люда.

Никогда не подозревал, что это короткое слово может быть таким тяжелым.

— Почему? — упавшим голосом спросил я.

— У меня есть... — Людмила замялась, будто подыскивая слова. Но я уже все понял. И мог бы досказать за нее: — молодой человек.

Она быстро добавила:

— Я пришла его встречать...

— Сейчас?

— Да... Он тоже служит, как и вы. Он сопровождает грузы. Я узнала, что сегодня вечером он будет на этой станции. Мы не виделись уже два года. Возможно, эшелон задержится здесь недолго. Ведь бывает так?

— Бывает, — согласился я.

Кажется, я имел неважный вид. Люда поняла, что огорчила меня. И может, для того, чтобы хоть как-то утешить, дружески спросила:

— Вас тоже дома кто-нибудь ждет?

— Конечно... Родители, — ответил я.

И пошел в кассу оформлять проездные документы.

Я провозился там недолго. Когда билет был у меня в руках, услышал грохот подъезжающего поезда.

Я поспешил на перрон. Шипели тормоза. На платформу прыгнули несколько солдат. Я увидел Люду в объятиях длинного солдата и отвернулся. Младший сержант спросил меня:

— Слушай, дружок, где здесь буфет?

Я тоже пошел в буфет. Только гораздо медленнее, чем младший сержант. Когда я пришел, он уже пил крем-соду. Она пахла химическим составом, но ничего другого в буфете не было.

Я сел за столик. Передо мной стоял стакан с водой. Сквозь большое окно я видел кусок перрона. И Людмилу с длинным солдатом. Они держались за руки.

Потом пронесся встречный товарняк. И эшелон отправился. Я вышел на перрон в тот момент, когда длинный солдат прыгнул на подножку.

— Пиши, Митя!..

Люда погрозила ему пальцем.

Последний вагон мелькнул за семафором. Еще, как живые, вздрагивали рельсы. Но поезд уже был далеко. Люда стояла на самом краю перрона.

— Вы счастливая. Поезд мог не остановиться.

Люда повернула голову. Сказала:

— Я провожу вас.

В ожидании поезда мы сидели на скамейке, и я опять читал стихи. Солнце уже село. Пришла свежесть. Терпкая, осенняя свежесть. Я и не заметил, как вокруг нашей скамейки стали собираться люди.

Потом поезд пришел. Он стоял только одну минуту. Я пожал Людмиле руку и забрался в тамбур. Какой-то пожилой гражданин целовал свое многочисленное семейство. И все время закрывал от меня Люду. А она улыбалась и переходила с места на место.

Дежурный по станции дал свисток. И тогда неожиданно для себя я прыгнул на перрон и сунул Людмиле томик стихов Сергея Есенина. Люда растерялась. Она смотрела на меня, и глаза ее стали большими, как никогда. Я чувствовал, что сейчас должен услышать что-то серьезное, важное. Ну, скорее же!..

И Люда заговорила:

— Я все наврала тогда. Митя мой брат. Я очень люблю его. Пишите мне. Хорошо?

— Хорошо, — сказал я.

Я стоял ошеломленный и смотрел на Люду. Колеса делали первые обороты. Мой вагон проплывал мимо.

— Прыгай! Быстрее! — крикнула Люда.

Я хотел обнять ее. Но вагоны неслись мимо. И, как пахло, все быстрее и быстрее. Я побежал за поездом и вскочил в тамбур. И еще долго, пока было можно, смотрел на Люду. Она махала мне томиком Есенина.

Я был вне себя от радости. Людмила... Я вошел в вагон. Забрался на верхнюю полку и только здесь вспомнил, что не спросил у Люды ни адреса, ни фамилии. А она не знает даже, как меня зовут.

Я бросился в тамбур. Мимо проплывали осины: лиловые у горизонта и темно-серые рядом с поездом. Я не знал, что со мной творится. Я мог выпрыгнуть из поезда, если б это помогло.

Потом я вспомнил сержанта Зяблика, стажера Романа, вспомнил других ребят, которым можно было написать и попросить переговорить с Людой. И Люда тоже, вероятно, могла найти меня. Ведь живем мы не на пустынном острове. Кругом нас люди. Они помогут!

Я знал. Я верил... в этот конверт с голубыми незабудками.



ПОСЛЕДНЯЯ ЗАСАДА

Повесть





Земля лежала под инеем — тонким и чуть-чуть сизым от хмурого рассветного неба, нависшего над горами. Дорога белесой лентой разматывалась вдоль склона, по которому вниз, к оврагу, сбегали каштаны с широкими, безлистными кронами, тоже прихваченные инеем, но все такие светлые, как дорога. Впереди, на взгорке, маячило подворье. И дым валил из трубы, пригибаемый ветром к длинной, одетой в железо крыше.

Четверо бойцов красного кавалерийского эскадрона — Иван Поддувайло, Семен Лобачев, Борис Кнут, Иван Безпризорный — ехали на лошадях и вели негромкий разговор.

— Это тот дом, — сказал Поддувайло. Он был старшим группы. — Здесь окрест километров на пятнадцать другого жилья нету. Нужно заслонить егерю путь к югу. Пужнуть его выстрелом, в случае чего...

— Верно, — согласился Кнут. — Если он смоеется в заповедник, тогда амбец. Тогда можно разматывать портянки и сушить их на солнышке.

— Почему? — пробурчал Лобачев.

— Потому, что Северо-Кавказский заповедник он знает лучше, чем ты свои грабли.

— Некультурное сравнение, — вмешался Беспризорный. — Огрубел ты, Боря. Можно сказать: знает лучше, чем ты свои пять пальцев.

— Это тебе для стихотворений культурные сравнения нужны. А жизнь на них плевать хотела. Она со всякими дружит — и с культурными и с бескультурными.

— Прекратите чепуху молоть, — строго сказал Подувайло. — Слушайте приказание. Красноармейцы Лобачев и Кнут, ступайте в овраг и как можно швыдче выходите вон к тому карьеру. Ясно? Мы с Беспризорным пойдем прямо в хату...

— Опасно, — заметил Лобачев.

— Все равно вражину брать нужно. Прикрывайте.

Борис Кнут и Семен Лобачев слезли с лошадей.

Было раннее-раннее утро. Дул резкий ветер. Тучи, лохматые и седые, лениво надкусывали горы. И горы стояли без вершин, словно люди без шапок. И тишина была белой и немного сладкой от запаха прелых листьев.

Опустив морду, лошади с большой осторожностью ступали по скользким листьям, под которыми дремал овраг. И голые прутья кустарников мокро хлестали их по ногам и по крупам.

— Как ты думаешь, Семен, — спросил Боря Кнут, — у этого старого паршивца самогон есть?

— Заботы у тебя несерьезные, — ответил Лобачев укоризненно.

Боря Кнут не смутился. И не без хвастовства заявил:

— Я и сам несерьезный. Таким меня папа с мамой сладили.

— Среди людей живешь.

— Люди разные встречаются... Человек, он, понимаешь, Семен, как арбуз. Его же насквозь не видно. Это только в бутылке все ясно и прозрачно.

— Болтун ты, Борис... Уж лучше что-нибудь про любовь бы рассказал, про женское сердце...

— У кого что болит, тот про то и говорит, — усмехнулся Боря Кнут. — Относительно Марии сомневаешься. А ты плюнь на сомнения. К сердцу прислушайся. Там и ответ найдешь. Тем более не спец я по женской части. Женщины любят красивых и серьезных.

Овраг круто уходил вверх. Узкие камни лежали один на другом долгими, желтыми пластами.

— Нам здесь не выбраться с лошадьми, — сказал Боря Кнут. — Лошадей привяжем в овраге. Им тут спокойней будет и безопасней. Вдруг тот псих стрелять начнет. Он птица непростая. Связным в банде Козякова был...

Семен Лобачев вздохнул:

— Места, конечно, необжитые. И даже жуткие.

— В том-то и заковырка. Как сказал бы Поддувайло: «Я тебя бачу, а ты меня ни». Может, старый черт нас давно на мушке держит. И наши молодые жизни от его фантазии зависят.

...Привязав лошадей, они выбрались наверх и, пригнувшись, пошли напрямик к карьеру. Дом егеря Воронина был отсюда на расстоянии полсотни метров. И они хорошо видели, как Иван Беспризорный, вскинув винтовку, присел за забором, а Поддувайло поднялся на крыльцо. Он недолго стучал в дверь. И ему открыла женщина в ярком сине-красном переднике. Он что-то сказал ей, а потом они скрылись в доме. Вскоре в дом пошел Иван Беспризорный. Было впечатление, что Поддувайло позвал его, выглянув в окно.

Семен забеспокоился:

— Может, нечисто там. И помощь наша требуется.

— Не дети они. Знак дадут. Криком или выстрелом.

— Знака нет — все спокойно. Так я понимаю?

— Правильно понимаешь, Семен. Кажется, старый хрен без боя сдался. Или дурака валяет, овечкой прикидывается.

— Закурим?

— Не грех.

Они не успели закурить. Из дома егеря Воронина вышел Поддувайло. Позвал их.

— Взяли? — спросил Кнут.

Поддувайло покачал головой:

— Утек. Старуха, значит жена евонная, бачила, что в ночь он подался. Собрал жратвы, ружье, патронташ...

— Да, — подтвердила старуха, — собрался, как для большого обхода. Только сказал, не жди, а поспешай к дочке в Курганную.

Она произносила слова без страха, но как-то злобно, словно едва сдерживала себя.

— Складно очень говоришь, мать, — прищурился Бо-

ря Кнут. — Точно молитву читаешь. А я скажу: обыскать прежде дом следует. Все закоулки, погреба, кладовки проверить.

Лицо у старухи не дрогнуло и взгляд не потускнел. Она продолжала говорить быстро. И все так же — с ожесточением. Точно избавлялась от тяжести:

— Воля ваша. Господь свидетель, правду сказываю. И утруждать себя обыском вам не нужно. Сама покажу. Склад тута есть. С оружием и припасами. На банду мой хозяин работал, чтоб ему, царица небесная, пути не было. Помогите мне горку сдвинуть.

Горка с посудой стояла в первой большой комнате, которая могла считаться и прихожей, и гостиной, и столовой, и залой. Из этой комнаты вправо и влево вели по две двери. Таким образом, в доме имелось пять комнат. В одной из них, где нежно пахло хорошими духами, Кнут увидел на смятой постели иностранную книгу. И очень удивился, хотя и не понял, на каком языке она написана.

— Чья? — спросил он. — Кто у вас в доме по-буржуазному читает?

— Анастасия.

— Родственница?

— Сам-то велел называть ее племянницей. Только мы в родстве с полковником Козяковым не состоим. Дочкой она ему доводится, — ответила старуха.

— Где же теперь прячется эта Анастасия?

— Ушла. — Хозяйка посмотрела на Борю так, что у него мурашки на спине выступили. Боря винтовку крепче сжал. Семену Лобачеву шепнул:

— Ты выдь, посиди возле дома. Не вдруг нас здесь, как котят, передавят. Сомневаюсь, что старый черт далеко смылся.

А в это время Поддувайло и Беспризорный возились с горкой. Она была вделана в пол. Закреплена, видимо, на винтах. И хотя трещала, но не двигалась.

— Под горкой лаз в погреб, — словно шипя, говорила старуха. — Он меня выгонял, как собаку, ежели туда спускался. Ну да окна в доме есть.

— Секрет тут какой-то, — сказал Беспризорный.

— Полки пробуйте. В полках хитрость, — подсказала хозяйка.

Тогда Поддувайло обратил внимание, что ребро левой полки, второй снизу, залапано и что на полке ничего не

стоит. Он двинул полку ладонью, и весь левый нижний отсек пополз в стену. Из черной пасти погребца дохнуло сыростью.

Старуха зажгла керосиновую лампу. Подала ее Ивану Поддувайло, который уже стоял на лестнице, спустившись в погреб больше чем наполовину. Пламя, изогнувшись, лизало стекло, и копоть убегала вверх длинной, расширяющейся книзу дорожкой. Иван принял лампу. Держа ее над головой, спустился в погреб.

Вначале он молчал. Наверно, осматривался. Потом громко сказал:

— Хлопцы! Под вами целое богатство.

Боря Кнут крикнул:

— Иван, я к тебе!

Через несколько секунд он стоял рядом с Поддувайло в низком, но широком и длинном погребе. И считал вслух:

— Три пулемета. Винтовок... Раз, два... Семнадцать, восемнадцать... Двадцать четыре винтовки. А это, конечно, гранаты. И в ящиках гранаты.

— В ящиках патроны, — ответил Поддувайло, который успел сорвать крышку с одного ящика. Патроны лежали по пятнадцать штук в небольших коробках из промасленного картона. Поддувайло разорвал коробку, и патроны заблестели у него на ладони.

— Девять ящиков — это много, — сказал Боря Кнут. — Это тебе не хулиганство. А настоящая контра... Я вот одного, Иван, не пойму. Ведь сейчас не восемнадцатый год и не двадцатый... Тридцать третий, можно сказать, свое оттопал. И вдруг саботаж. И бандиты, как грибы после дождя, повылазили. Ты, Иван, коммунист. Ты и сведи мне концы с концами...

Поддувайло нахмурился, крикнул, бросил патроны в ящик. Сказал Кнуту:

— Подойди поближе. Глянь, на каком языке написано. А эти гарные винтовки? Что их, на Кубани или в России сработали? Догадываешься, как они сюда попали?

— Ясно.

— То-то и оно...

И Поддувайло показал рукой на темную, обшитую дубом стену. Затем, повернувшись лицом к Борису, продолжал:

— Зерно в этом. Но брось ты зерно на каменный шлях, и оно погибнет. А урони в огороде — оно поросль

даст. Вот Кубань и оказалась огородом. Кулачья здесь было — хоть пруд пруди. И пришлась им коллективизация ножом к горлу! Конечно, шпионы разные воспользовались... А народ бандитов не поддержал. Вот они и лютуют...

Поддувайло резко повернулся и зашагал к лестнице. Сказал:

— Возьми лампу.

...Минут десять они держали военный совет. Обсуждали создавшуюся ситуацию, которая не была предусмотрена приказом. Стало ясно, что приказ был отдан наспех, когда кавалерийский эскадрон вышел на преследование банды Козякова. Командир взвода, уже сидя в седле, подозвал к себе Поддувайло и велел взять трех бойцов и отправиться за несколько десятков километров, чтобы задержать егеря Воронина. О том, что егеря может не быть дома, никто не подумал. Обнаруженный склад боеприпасов и оружия еще больше усложнил ситуацию. На четырех лошадях они никак не могли увезти все. С другой стороны, вполне можно было предположить, что бандиты очень рассчитывают на склад. И придут сюда. Это может случиться и завтра, и послезавтра... Но может случиться и сегодня, через час, через два. Или даже через несколько минут.

Было принято решение, показавшееся самым разумным. Лошадей укрыть в конюшню егеря. Семену Лобачеву отправиться в штаб эскадрона. Трое же — Иван Поддувайло, Борис Кнут, Иван Беспризорный — останутся в доме егеря — в засаде.

Семен Лобачев вскочил в седло...

Поддувайло и Кнут снимали смазку с «максима», который они вытащили из погреба. Иван Беспризорный, наблюдатель, сидел у окна.

Старуха сказала:

— Сынки, я вам картошки наварю. И мука у меня есть. Оладьи пожарить можно.

— Спасибо, товарищ мамаша, — ответил Поддувайло и поинтересовался: — Скажите, как вас зовут?

— Матрена Степановна.

— Спасибо вам, Матрена Степановна. Мы про ваше хорошее участие командирам доложим.

Боря Кнут улыбнулся. Озорно спросил:

— Нескромный вопрос. Я понимаю. Но чего это вы на своего дражайшего муженька зуб имеете?

— А это уже наше между ним дело...

Матрена Степановна ушла к печи. Некоторое время никто ничего не говорил. И только было слышно, как позвякивали детали пулемета да гремела конфорками хозяйка.

Потом Кнут подмигнул Поддувайло, кивком головы указал на Беспризорного:

— Опять Иван стихи пишет.

Беспризорный положил карандаш на подоконник. Ответил:

— Первую строчку придумал. Жестокое слово «засада»...

— Верно, — согласился Кнут. — Слово такое, что кровью от него пахнет, как... Ищу культурное сравнение. Как из ствола порохом.

— Слово обыкновенное, — отозвался Иван Беспризорный. — Только очень старое. Придет время, и оно умрет.

— А разве слова умирают?

— Конечно. Только не так легко, как люди.

— А я не верю, — возразил Кнут. — Что их, чахотка поедает?

— Время хуже чахотки. Вот пример. Ямщик — мертвое слово. Потому что нет на Руси ямщиков. Последний, может, уже давно в земле лежит.

— Значит, когда-нибудь и последняя засада будет...

— Выходит, так.

Боря Кнут лицом посветлел, точно небо на рассвете:

— Братцы, кто знает: вдруг наша засада и есть самая последняя.

— Все может быть... Гадать не время, — ответил Беспризорный, всматриваясь в окно, и с тревогой добавил: — Лобачев вернулся.

Они услышали цокот копыт во дворе. А вот уже и Лобачев вбегает в комнату:

— Бандиты!

— Много?

— Десятка три. В километре от оврага. Двигаются в нашем направлении.

Поддувайло выпрямился. Руки ниже пояса. Пальцы в смазке.

— Лобачев, мигом прячь лошадь в конюшню. Пулемет на чердак. Занимаем круговую оборону. Кнут.— север. Беспризорный — восток. Лобачев — юг. Они двигаются с запада. Я встречу их пулеметом. Раньше меня никто огонь не открывает. Подойдут близко, встречайте гранатами. К бою, товарищи! Кнут, подсоби мне втащить пулемет.

Возможно, осторожность и не родная сестра победы. Но все равно они в близком родстве. И это понимают бандиты. И без нужды не рискуют.

Они сосредоточились в овраге. Вперед выслали только одного. И он не шел, а трусил мелко, как побитая собака, точно чувствовал, что всадят ему сегодня промеж костей несколько граммов свинца. И жизнь кончится, и страх тоже... Он был совсем молодой. Может, шестнадцать лет, может, семнадцати... Чей-то кулацкий сынок... И вот он двигался к дому егеря Воронина с обрезом наперевес. И конечно, очень боялся... Он не упал, а плюхнулся на землю, когда раскрылась дверь и вышла Матрена Степановна. А потом, увидев старую женщину, он сообразил, что ему, казаку, не к лицу лежать перед ней на пузе, поднялся, подтянул штаны и крикнул:

— Тетка! Хозяин дома?

— Шоб тебя, проклятый, лешак побрал вместе с моим хозяином.

Парень осмелел:

— Тетка! А ты одна?

— Отвяжись, окаянный... Нешто в мои годы полубоювников приваживать?

— Эй! — закричал парень, повернувшись лицом к оврагу, и замахал над головой рукой.

Из оврага стали выбираться бандиты, и конные и пешие. Гурьбой, наперегонки устремились к дому, слясь опередить друг друга, чтобы разжиться жратвой.

Иван Поддувайло очень удивился этому. Он не знал, что кавалерийский эскадрон жестоко потрепал бандитов и преследует их буквально по пятам, что полковник Козяков уже несколько часов лежит мертвый и что бандиты очень торопятся...

Очередь вышла смачной. Бандиты падали, как в кино. Извивались, корчились, раскрывали рты в крике... Здорово! Ой как здорово! Еще десяток секунд, и все будет кончено. Им же, гадам, некуда деться. Они как оглашен-

ные бегут к оврагу. Да только не успеют. Не успеют!.. И вдруг — тишина. Нет. Внизу стопали, и кричали, и топали. Но Иван ничего не слышал. Пулемет молчал. Засело ленту. Или что-то стряслось в механизме подачи... Иван стал на корточки. Откинул крышку затвора...

Его увидели из оврага и убили.

И если бы они тотчас вновь бросились в атаку, дом пал бы. Но бандиты не бросились. Они не знали, сколько людей засело в доме. И потому повели себя так, как вели осаждающие во все времена. Они окружили дом. И только потом поняли, что количество защитников невелико.

Но бандиты очень торопились. Они даже кричали:

— Эй, вы! Большевики! Отдайте нам три ящика патронов. И мы уйдем...

Боря Кнут ответил на это предложение крепким словом.

Беспризорный стрелял редко. Он видел, как выглянуло солнце, как схлынули тучи, обнажив золотистые вершины гор. И подумал, что еще очень рано, наверное часов восемь утра. Он бросил гранату, когда увидел группу бегущих на него небритых людей. И еще он бросил вторую гранату. А третью не успел... В последнюю секунду он не думал о стихах. Но лицо выстрелившего в него бородатого человека показалось Ивану похожим на венник. Такой узкой была голова, а борода, наоборот, расходилась клином.

Частил Семен Лобачев. Попадал редко. Но двое уже лежали возле конюшни. Неподвижно лежали. А остальные не смели подойти. Стреляли редко. Берегли, сволочи, патроны. Ему показалась подозрительной тишина. И он распахнул дверь в большую комнату. Увидел лежащего на спине Борю Кнута и кровь, вытекающую из него. Он шагнул к товарищу... Пуля встретила Семена Лобачева.

А бандиты уже бежали прочь, бежали сломя голову. К дому егеря выходили цепи кавалерийского эскадрона...

Матрена Степановна спустилась с чердака, обошла комнаты. Перекрестилась. Но вдруг увидела живое лицо лежащего на спине Бориса Кнута. Красноармеец пошевелил губами и тихо сказал:

— Мать...

Она решила, что он просит пить. Принесла ему ковш воды. Он припал губами к холодным краям. И вода текла

по подбородку на гимнастерку и смешивалась с кровью. Отстранив ковш, Боря Кнут сказал:

— Мать, у тебя нет, мать, самогончику? Хоть стакан или половину. Я тебе отдам. Честно. Мне один поп четверть должен. За библию. За такую красивую. Но тяжелую, что кирпич...

Она побежала в чулан, где под скамейкой стояла бутыл в плетеном чехле. Но когда вернулась со стаканом, Кнут был мертв.

— Царство тебе небесное, — сказала Матрена Степановна, перекрестилась торопливо.

Во дворе красноармейцы обыскивали пленных бандитов...

Так закончилась операция по уничтожению банды полковника Козякова. Но заключительная точка во всей этой истории еще не была поставлена.

Давайте же вернемся на три месяца назад и проследим за событиями, предшествовавшими последней засаде Ивана Поддувайло и его боевых друзей.

Часть первая

«ПАРИЖСКИЙ САПОЖНИК»

1

Большие жилистые руки лежали поверх малинового одеяла. И пальцы были сжаты в кулаки со страшной силой, отчего линии сосудов проступали, словно татуировка. Перебинтованная голова вминала подушку, прислоненную к низенькой спинке голубой узкой кровати — единственной в палате, с большим, выходящим во двор окном. Над окном трепетали накрахмаленные занавески. И Каиров, войдя в палату, сразу обратил внимание на эти занавески. Вернее, на то, что ветер колышет их. Значит, рамы открыты!

Каиров подошел к окну, посмотрел вниз. Он увидел асфальтированную кромку возле стены, гаревую дорожку, а за ней рыжеватый подстриженный газон. Нетрудно было догадаться, что во все палаты первого этажа можно легко проникнуть с улицы через окно, ступив ногою на

маленький карниз, возвышающийся в полуметре от земли а затем подтянуться до подоконника.

Проведя по подбородку ладонью, словно проверяя, не зарос ли, Каиров строго спросил:

— Кто распорядился поместить раненого на первом этаже?

— Я, — тихо ответил дежурный врач. — Сотрудники, доставившие его, потребовали отдельную палату. Эта была единственной. В больнице на втором этаже ремонт.

Каиров нахмурился, достал из кармана толстовки папиросу. Остановился возле кровати, глядя в затылок Челни — седенького милицейского доктора. Выпрямившись, поправив пенсне, Челни обернулся к дежурному врачу, напуганному происшествием, и спросил:

— Где у вас умывальник, коллега?

— Вторая дверь направо... Я вас провожу.

— Одну минутку... Ваше слово, доктор Челни, — сказал Каиров.

Челни вынул большой, в половину газеты, носовой платок и, вытирая руки, предложил:

— Мирзо Иванович, вчера за визит я получил ведро картошки. Это же богатство! У меня есть вяленая ставридка. И немного чачи... Поехали ужинать.

— Интеллигентный вы человек, Семен Семенович. Слишком интеллигентный для нашего сурового времени. — Каиров скептически улыбнулся. — Ну, а теперь о деле...

— Смерть наступила мгновенно. Четверть часа назад, в результате ножевого ранения в область сердца.

Челни снял пенсне, убрал его в футляр и сказал дежурному врачу:

— Пойдемте, коллега.

Каиров вышел вслед за ними. Стоявший у двери милиционер вытянулся. Каиров назвал его по фамилии и велел вызвать инструктора с собакой, чтобы тщательно обследовать газон и прилегающие к нему дорожки.

Рывком распахнув дверку, Каиров втиснулся в машину. Через минуту пришел Челни. Положил на колени портфель. Сказал:

— Как же насчет ужина, Мирзо Иванович?

— Настойчивый вы мужчина, необыкновенно... — ответил Каиров. Он говорил с незначительным кавказским акцентом, и буква «е» через раз у него звучала, как «э».

— Настойчивый... Представьте... Нет, не отмахивайтесь, а только представьте... Молодая кубанская картошка. Розовая. Одна в одну. Такую и за большие деньги не купишь.

— У кого они есть, эти большие деньги?

— Думаете, нет... Прикиньте, сколько здесь на побережье в восемнадцатом году золота осело.

— Торгсин свое дело делает...

— Товары не только в торгсине. Французское мыло предлагали моей жене не далее как вчера. Этаким ароматный желтый квадратик с выдавленной надписью: «Париж».

— Где предлагали?

— У скобяного магазина на улице Полетаева.

— Кто?

— Мужчина.

— Какой он из себя? Приметы?

— Женщина есть женщина. Даже если она и жена милицейского доктора...

— Многие женщины очень наблюдательны.

— Моя супруга не такая.

Машина ехала медленно. Улицы были узкие, без тротуаров. И люди ходили по проезжей части. И не спешили сторониться, услышав сигнал автомобиля. Они замедляли шаг. Провожали машину взглядом, не злобным, а удивленным, как если бы смотрели на слона.

— У меня прострел, — сказал Каиров.

— Нагрейте соли... А еще лучше — подкладка из собачьей шерсти.

Каиров недоверчиво покосился на доктора, но не возразил.

Вскоре машина въехала во внутренний двор трехэтажного дома, сложенного из белого кирпича. Высокий кипарис, возле которого торчала водопроводная колонка, возвышался посреди двора, покачивая узкой вершиной.

Было пять часов вечера. И небо уже отливало розовым светом. Как оно всегда отливало осенью в это время, если тучи не заволакивали солнце. Двор был не убран. На траве и около потемневшей от ветхости скамейки валялись обрывки газет. Сотрудники, разморенные за долгие часы работы в душных кабинетах, под вечер выходили подышать свежим воздухом, покурить, пожевать принесенный из дому бутерброд.

В четвертом подъезде оперуполномоченный Волгин говорил утешительные слова заплаканной вдове Мироенко — машипистке из угрозыска.

— Крепись, Нелли. Горю слезами не поможешь, — сказал Каиров. — Найдем убийцу. Верно я говорю, Волгин?

— Точно, — подтвердил Волгин.

— Пойдем. Ты мне нужен.

Каиров тщательно прикрыл за собой дверь, прошел к столу, указал Волгину на диван:

— Садись. Рассказывай, как Хмурого брали.

— Ну вы знаете, что опознали его два дня назад. Привесили хвост. Но он ни с кем не встречался. Жил в гостинице. Вещей при нем не было. Только маленький баульчик с продуктами. Во вторник и в среду с половины двенадцатого до двенадцати прогуливался на центральном бульваре у афиши кино. Ровно в двенадцать становился спиной к афише и был неподвижен в течение минуты,

— Вы не запомнили название фильма?

— «Парижский сапожник»...

— Что было дальше?

— В ночь со среды на четверг в третьем часу он пришел на вокзал к поезду. Билет купил до Ростова. За десять минут до прибытия поезда Мироенко приказал брать Хмурого... В последний момент Хмурый понял, что попался. Бросился бежать по шпалам в сторону переезда. Оттуда и грохнул выстрел... Когда мы подбежали, Хмурый уже бредил.

— А именно, что он говорил?

— Повторял слово «нумизмат»... А может, это было какое-нибудь другое слово. Но мне показалось, что он раза три повторил именно это слово.

— Больше он ничего не говорил?

— Нет... Когда мы принесли его в медпункт вокзала, он потерял сознание. Я попросил медсестру остановить кровотечение и наложить повязку. Она сказала... Возможно, боялась... Но она хотела, чтобы я был рядом. В это время раздался еще один выстрел. А секунд десять спустя началась стрельба. Я знал, что Мироенко и два дежурных милиционера обследуют прилегающий к переезду участок. Оставив Хмурого на попечение медицинской сестры, я побежал к переезду... Мироенко был уже мертв. Милиционеры лежали возле него и палили в кусты

ежевика. Буквально пять минут спустя мы опешили пу-стырь со стороны шоссе и по склону Бирюковой горы... Но никого не обнаружили. Вероятно, неизвестный стрелял из револьвера. И гильзы остались в барабане. Мы не нашли ни одной. Трудно предположить, чтобы он собирал их в темноте.

— Дежурный по переезду допрошен?

— Да. Ею оказалась женщина. Проверенный и надежный товарищ. Выстрелы она слышала. Но ни по путям, ни по шоссе мимо будки никто не проходил. Побывали мы и в поликлинике. Там тоже находились дежурные. А в лаборатории люди работают круглые сутки. И они слышали выстрелы, но выходить из помещения побоялись. Говорят, береженого и бог бережет.

Лохматый, как пудель, Золотухин приоткрыл дверь и, просунув голову, спросил:

— Мирзо Иванович, можно?

— Входи!

Золотухин шел плавно, словно скользил по паркету.

— Мирзо Иванович, а мы кое-что нашли.

— Неужели гильзы?

— Сразу гильзы. Пуп земли — гильзы... Кое-что поинтереснее.

И он положил перед Каирым крошечный белый лоскуток величиною с автобусный билет.

— На кустах ежевики висел.

— Ну и что? — не скрывая разочарования, спросил Каилов.

— Я высчитал условную траекторию полета пули. Линия шла под углом в тридцать пять градусов к железнодорожному полотну. Зная убийную силу револьвера, мне нетрудно было определить место, где стоял убийца. Когда я был маленький, Мирзо Иванович, физика и тригонометрия были моими любимыми предметами. Я и сам не пойму, почему позднее решил стать милиционером. Убийца стрелял с тридцати метров. Не попади он в переносицу, мы могли бы навещать Мироненко в больнице.

Каилов скептически улыбнулся:

— Милый мой, даже точные науки подчиняются законам логики. Если ты задумаешь кого-нибудь убивать осенней ночью, ты не станешь надевать ни белую блузку, ни куртку, ни халат... Или еще черт знает какую одежду, в которой будешь виден за километр,

— Однако факт налицо. Вы же первый, кто требует от нас фактов, и прежде всего фактов.

— Ты отнимаешь у меня время, — сказал Каиров со свойственной ему прямоотой. — Но раз в мои обязанности входит и воспитание кадров, садись, наматывай на ус...

Каиров раздраженно поднял телефонную трубку. С усилившимся кавказским акцентом — первым признаком недовольства — сказал:

— Девушка, соедините с поликлиникой. Заведующего... Товарищ Акопов, это Каиров. Проконсультируйте меня по одному вопросу.

— Пожалуйста.

Кажется, у Акопова был громкий голос, а может, это целиком заслуга телефона, но Золотухин и Волгин отлично слышали все, что говорил заведующий поликлиникой.

— У вас в поликлинике кто-нибудь остается на ночь?

— Безусловно. Дежурный врач «скорой помощи». Медицинская сестра. Кучер. Сотрудник в лаборатории.

— Скажите, они выходят ночью из здания поликлиники?

— Безусловно. В случае вызова «скорой помощи».

— И только?

— Безусловно. То есть не совсем безусловно. У нас нет канализации.

— Ясно. Людям приходится выходить ночью...

— Да... Но в туалете, если это слово здесь применимо, отсутствует электричество.

— Остается пустырь, — подсказал Каиров.

— Вероятно, так. Мне никогда не приходилось бывать ночью в поликлинике.

— Спасибо. Еще один вопрос. Ваши люди и ночью носят белые халаты?

— Безусловно.

— Как вы думаете, они снимают их, когда выходят в... на улицу?

— Думаю, что не всегда.

— Спасибо вам, товарищ Акопов.

Звякнула трубка. Каиров довольно посмотрел на Золотухина.

— Вот так, милый сыщик... Надо бы помочь докторам. Послать к ним электрика. И у нас, глядишь, время зря бы не пропадало.

Золотухин — большой артист. У него на лице одно, а про себя другое. Он сейчас не хочет раздражать начальника. И всем своим видом демонстрирует — сдаюсь, ваша взяла.

А Каиров любит, чтоб брала именно его... Вот он вышел из-за стола, заложил руки за спину и не спеша начал ходить от двери до окна... В кабинете стоял густой сумрак, но Каиров не включал свет. Он не хотел зашторивать окна. Потому что в свои пятьдесят лет был полным человеком, страдал одышкой и предпочитал свежий воздух всем другим благам.

— С личным делом Хмурого вы знакомы, — сказал Каиров. — Контрабанда. Валюта. Наркотики... Хмурый не убит на переезде, а час назад зарезан в больнице. Никто из его старых дружков на мокрое не пойдет... Все-таки появление Хмурого, которого месяц назад видели в Лабинске, и действия банды Козяка — это одна цепь... С бандой будет покончено в течение ближайших недель. Нас интересует другое... Очевидно наличие иностранной агентуры, которая руководит и помогает банде. Мы не знаем каналы связи. Но они существуют... Возможно, что Хмурый прибыл сюда как связной. Но где же тот, к кому он шел... Вот это нам и поручено выяснить. К выполнению операции приступаем сегодня же. Золотухин, устройшь побег Графу Бокалову. В десять вечера. Для приличия дашь пару выстрелов вверх. С помощью Графа необходимо выявить всех, кто связан с контрабандой, валютой, торговлей наркотиками. Всю операцию знаю я. И начальник краевого отделения. Кодовое название операции... Где они встречались? У какой афиши?

— «Парижский сапожник», — подсказал Золотухин.

— Операцию назовем «Парижский сапожник», — решил Каиров.

Он любил названия загадочные и необычные.

Когда Золотухин ушел, Каиров положил руку на плечо Кости Волгина и сказал:

— Тебе, Костя, предстоит выполнить самую трудную часть операции «Парижский сапожник».

2

Хлябкая изморось. Степь круглая, как сито. Пирамидальные тополя. Оголенные, мокрые. Они, точно стран-

ники, появляются то справа, то слева. И дорога — каша из черной грязи, по которой едва двигается телега.

Пара усталых лошадей рыжей масти бредет медленно. Воздух холодный, и над крупами животных поднимается пар. Возница сидит на передке как-то полубоком. Искося поглядывает на пассажиров. Он не очень им доверяет.

Пассажиров трое. Один, Владимиром Антоновичем его называют, по возрасту, видать, самый старший. В шляпе, в очках, в тонком пальто. Что пальто тонкое — это его собственное дело. Очки на Кубани многие носят, особенно кто в городе родичей имеет. А вот насчет шляпы — товарищ маху дал. Не привыкшие тут до шляп жители. Раздражение такой убор вызвать может. Сомнение. Вместе со шляпой и голову потерять не в диковинку.

Второй, может, цыган, может, татарин. Глаза черные, хитрые, как у сатаны. Ростом маленький. Всю дорогу, подлец, руки в карманах плаща держит. Это точно — пистолеты не выпускает.

Третий — чистый жулик. В кожанке. И с чубчиком.

Ящики какие-то с ними, лопаты...

— Так вы, значит, добрые люди, из Ростова будете? — заискивающе спрашивает возница.

— Бери выше, отец, — говорит жуликоватый. — Из самой Москвы. Мы, батя, геологи. Полезные ископаемые в ваших краях искать будем...

— Окромя грязи, тута ничего нету, — заявил возница.

— А мы дальше поедem...

— Дальше дальнейшего не бывает. Куда же это?

— В хутор Соленый... Рожкао...

Возница побелел. Повернулся к ним. Руки трясутся:

— Люди добрые, не губите...

Никакого впечатления. А коротышка рук из карманов не вынимает. Так и жди, всю обойму выпустит.

— Сынки, если шо, забирайте коней и телегу тоже... Я ходом своим до Лабинской доберусь. Я, понимаете, пять душ детей имею... Жинка на прошлой неделе ногу подвернула... В каких дворах золото есть, не знаю. В нашей семье его отродясь не было.

— Что с вами, товарищ? — спросил тот, в очках и шляпе.

— Пужливый я больно... — признался возница.

— Зачем же нас пугаться? Мы ученые, приехали сюда проводить геолого-разведочную работу. Я профессор Фаворский. А это мои коллеги.

— Меня зовут Аполлон, — сказал жуликоватый. — А его Меружан...

Возница опять побледнел:

— Имена-то странные.

— Какие родители дали, — усмехнулся Аполлон.

Меружан не улыбался, никак не реагировал, а сидел неподвижно, словно глухонемой. Не вынимал рук из кармана. И ткань плаща подозрительно оттопыривалась, точно в кармане и в самом деле торчали пистолеты.

— Может, нам документы предъявить? — спросил профессор.

— Для порядку бы, — сказал возница, никогда не ходивший в школу, он и расписывался-то крестиком.

Вид бумаги с машинописным текстом и фиолетовой печатью подействовал на него успокаивающе. Возвращая ее профессору, повеселевший возница сказал:

— Люди добры, да куда же вы едете? Вы знаете, шо здесь творится? А в тех краях особливо... Бандитов — как собак нерезаных. На прошлой неделе наши их сильно потрепали. Да вот жаль, начальника отделения в том бою убили... Добрый мужик был. С пониманием... И все кулачье проклятое...

— На этих днях бандиты не показывались? — впервые за всю дорогу сказал Меружан.

— В горах, гады, отсиживаются... Если бы жинка ногу не подвернула, я бы с обрезом...

Возница достал из-под тулупа большой промасленный обрез и положил в телегу.

— Так-то лучше, отец, — сказал Меружан. — Я эту пушку давно заприметил...

— Шо вы, добры люди... Бандюги же моего родного брата прикончили. Председателем сельсовета он был. И жинку его попоганили и зарезали. И дочку трехлетнюю не пожалели. Я их, гадов, многих в лицо знаю. Всю Малую Лабу излазию, до Псибая дойду... Пусть только жинка ногой затопает...

— Горы большие, — сказал Аполлон. — Искать бандитов будет не легче, чем иголку в стоге сена.

— У меня ниточка есть... Старый княжеский холуй егерь Воронин. Чуется, что он не побрезгует и на банди-

тах заработать. С кем только он здесь не якшался: и с англичанами, и со шведами...

Возница провел рукавом по мокрому лицу. Вскинул вожжи... Пахло землей, лошадиным потом... Надрывно повизгивали колеса.

Одноэтажные домики станицы показались лишь в сумерках.

Гостиница стояла в самом центре. И достаточно было войти в прихожую, оклеенную состарившимися обоями, чтобы сразу представить «блага», которые ожидают путника. Вонь, холод, клопы...

Геологам отвели боковую комнату. В ней стояло пять убранных кроватей. Наволочки на подушках свежие, но залатанные и заштопанные. Одежда — солдатские, зеленоватого цвета.

Профессор предупредил заведующего гостиницей, что они везут дорогие приборы, и просил посторонних в номер не поселять.

Койки выбрали подальше от окна. Оно вытянулось чуть ли не во всю стену, с мутными пятнами на стеклах. Вторых рам не было. Шпингалеты держались на честном слове...

Аполлон вышел в коридор и спросил у дежурной, что и где здесь можно купить из съестного. Плохо одетая женщина — и, может быть, прежде всего, по этой причине, непривлекательная — терпеливо разъяснила, что базар в станице бывает с шести до девяти утра. Там иногда предлагают продукты: лепешки, требуху, вареную кожу. Но больше на обмен. За деньги купить почти ничего невозможно.

Пришлось терзать московские запасы...

Поужинав, геологи потушили свет и легли. Несмотря на дальнюю дорогу, которую им пришлось сегодня преодолеть, сон не приходил...

Аполлон сел, опустив на пол ноги, и без энтузиазма сказал:

— Клопы предприняли психическую атаку.

— Ты самый толстый, — сказал Меружан. — Клопы знают, что делают.

— Не включай свет, — предупредил профессор.

— Я не кошка, я в темноте не вижу.

— Все равно не включай, — предупредил профессор.

— Может, он не придет, — возразил Аполлон.

— Не будем дискутировать, — сказал профессор. — Лежите и ждите...

— Знаете, сколько времени человек тратит на ожидание? — спросил Меружан. — Двенадцать лет, или одну пятую всей своей жизни.

— Сам подсчитал? — спросил Аполлон.

Меружан промолчал.

— Что молчишь? Стесняешься?

— На глупые вопросы не отвечаю...

— Всё, — сказал профессор. — Молчок, коллеги...

Тикали часы. На улице лаяли собаки. Черные тараканы шуршали под обоями, словно гонимые ветром обрывки газет.

В окно трижды постучали. Профессор сбросил одеяло и оказался совершенно одетым. Мягко ступая в шерстяных носках по крашеному полу, он приблизился к окну и повернул шпингалет. Шпингалет звякнул громко, точно оброненные ключи. Скрипнув, разошлись рамы.

— Два, — сказал человек за окном.

— Восемь, — ответил профессор.

— Владимир Антонович?

— Да.

— Вам записка и привет от Кравца...

3

Светало. Вода чавкала под сапогами. Листья, и не успевшие облететь, и те, что уже несколько недель лежали на земле мягким желто-коричневым ковром, поблескивали капельками воды уныло и даже сумрачно. Потому что небо тоже было сумрачным — без низких свинцовых туч, похожих на глыбы, серое обложное небо.

Пахло прелыми листьями и желудями и разными травами, пожелтевшими и примятыми монотонным осенним дождем.

День обещал быть слезливым. Это совсем не радовало егеря Воронина, путь его ожидал длинный и в такую погоду небезопасный. Вода размочила склоны, взбодрились ручьи. Они спешили вниз, пенясь и урча, узкие и холодные, как змеи.

Егерь нес трех подстреленных на заре тетеревов. Так как считал, что с пустыми руками ему идти неудобно. Воронин же любил охотиться на боровую дичь. В пятьдесят

лет у человека масса привычек, от которых поздно избавляться и которые стали характером, натурой, полноправной частью человека, как голова, ноги, борода, морщины.

Давно. Очень давно. Сколько же лет? Сорок. Или тридцать девять. Да. Тридцать девять... Отцу тогда за пятый десяток перевалило. Они забрались в шалаш еще затемпо. Свежие порубленные ветки отдавали тем запахом, который можно учуять, лишь ткнувшись лицом в скошенную траву, едва привяленную, зеленую, но удивительно пахучую, как молодое вино.

Не рассвело. И в синем воздухе едва проглядывали темные деревья, когда отец схватил сына за плечо и они услышали бормотание тетерева. Вначале одного, затем двух, трех... Это было старое токовище. Отец помнил такие места. Он знал заповедник лучше, чем кто другой... Тетерева пели вначале на деревьях, потом на земле. Петухи дрались из-за тетерок как ненормальные. И Воронин-младший понял, что это глупая, похотливая птица. И у него не было к ней жалости. И нет. С того самого момента, когда он в первый раз нажал спусковой крючок и песня оборвалась...

Радость тогда переполняла его. Она не шла ни в какое сравнение с другими радостями, которые были позднее. Отец сказал, что сын — прирожденный охотник. И парню подумалось: вот такое чувствуют, когда любят.

Но он ошибся... Любовь никогда не припосила ему столько удовлетворения.

Он, не задумываясь, произносил слово «люблю». Говорил «люблю» Галине. Быстрой казачке. С черными глазами и косами. Говорил Марии даже после венчания... Говорил «люблю» фрейлине Вере, когда она, нагая, как создал ее господь бог, вбежала к нему в сарай, где он чистил ружье...

Они шутят, ведают, что творили, эти фрейлины. Великий князь Кирилл не случайно привозил их в личную вотчину.

Челяди приезжало много. Летних дач не хватало. И тогда разбивали палатки, устраивали навесы. Князь понимал толк в удовольствиях. Охота без выпивки не обходилась. И дамы не уступали мужчинам...

Воронин оступился и, упав на бок, покатился вниз по склону горы. Заросли шибляка придержали его. Егерь с трудом поднялся, присел на корточки и тупо смотрел на

голые переплетенные ветви боярышника, грабинника, шиповника, держи-дерева. Смотрел, не думая ни о чем. Ожидал, когда пройдет боль. Терпеливо, как не однажды он ожидал секача, сидя в засаде на кабаньей тропе.

Полегчало. Воронин нашел шапку, поднял с земли тетеревов. Закурил. И, неторопливо поглядывая под ноги, двинулся в гору.

Обогнув вершину, он оказался на широкой седловине, поросшей желтоватой травой. Десятка два коней бродили по поляне. Хмурый, обросший мужик с карабином навскидку выглянул из-за скалы. Узнав Воронина, сказал:

— Оне там.

Кивнул головой влево.

Шалаш был сделан под высоким грабом. Большой шалаш, похожий на опрокинутый кулек. Шипя и потрескивая, у входа горел костер. Перед костром стоял полковник Козяков в бурке и в отделанной каракулем кубанке. Лицо его было желтым, а под глазами лежали зеленоватые круги. Возможно, полковника трясла малярия.

Воронин бросил дичь, не сказав «здравствуйте». Полковник повернулся, протянул руку. Воронин пожал руку и недовольно пробурчал:

— Стар я почтарем по горам мотаться...

Он достал из кармана примятое письмо в самодельном конверте, отдал полковнику. Потом вынул из-за пазухи бутылку водки.

— Едва не угробил. Ноги чужими стали. Ревматизма... Полковник взял бутылку. Удивился:

— Московская?

Воронин кивнул.

— Откуда?

— Постояльцы наделили.

— Что за новости? Кто такие?

Воронин неопределенно повел плечами. Закусил нижнюю губу.

— Требухов! — позвал полковник.

Юркий мужчина, с круглым, рассеченным вдоль правой щеки лицом, поспешил к костру. Полковник кивнул на дичь:

— Займись!

— Слушаюсь, господин полковник.

Ослабившись, Требухов посмотрел на Воронина, потом нагнулся и взял тетеревов,

— Пошли, Сергей Иванович, — сказал Козяков.

В шалаше на земле лежал ковер. И еще два ковра висели. Кроме постели, накрытой коричневым одеялом из верблюжьей шерсти, в шалаше был изящный, где-то украденный столик на гнутых ножках и грубо сколоченный табурет.

— Садись, Сергей Иванович.

Егерь опустился на табурет. Полковник на постель. Читал письмо, щуря глаза. И выдох был тяжелый, как у простуженного. Повертел конверт, перегнул пополам и спрятал под подушку.

— Скучно ей, — сказал раздумчиво. — Ну да ладно! Теперь выкладывай, что за постояльцы.

— Геологами называются... Камни ищут.

— Красный конгломерат?

— Мне не докладывали.

— Много?

— Трое. Один профессор. Два чином поменьше.

— Анастасию видели?

— Пока нет... Она из боковушки не выходит. Зафем и шел, чтобы посоветоваться... Может, убрать их, да и концы в воду.

— Не пойдет... Твой дом должен быть чист, как стакан, из которого пьют. Пусть девушка не прячется. Она твоя племянница, приехала из города старикам по хозяйству помогать. И смотри, Воронин, если с Анастасией что приключится. Запомни, я не господь бог. Я ничего не прощаю!

Воронин недобро усмехнулся:

— С барышней все будет в лучшем виде... О себе подумайте, господин полковник. В Курганную целый эшелон красных конников прибыл.

— Пугаешь?

— Предупреждаю... Знать, не грибы они собирать приехали.

Козяков обхватил ладонью лоб и, не глядя на егеря, спросил:

— На почту ходил?

— В среду пойду. Не могу так часто... Я человек простой. Не люблю привлекать внимание.

Положив локти на колени, Козяков согнулся, будто у него случились колики в животе. Потом резко выпрямился. Раскупорил бутылку. Крикнул:

— Требухов! Стаканы!

— Я не буду, — сказал Воронин. — Моя дорога дальняя.

— Ты сделался слишком боязливым для своей профессии.

— Моя профессия — егерь.

— Знаю, что егерь... И все же... Красных конников ты боишься. На почту ходить боишься. Хлебнуть на дорогу водки боишься!

— Лес к осторожности приучил.

Водка наполнила треть стаканов. Но запах сразу полез в нос. И Козяков морщился, когда пил, и Воронин морщился тоже...

Похрустывая огурцом, полковник сказал:

— Я шучу, Сергей Иванович. Шучу... Иначе в твоих местах одичать можно.

— Зачем так?

— А как? Места дивные... Но зимовать здесь в мои планы не входит. Я уверен, что на белом свете есть более теплая зима, нежели в предгорьях Северного Кавказа. Да и Настенька у меня на шее висит, хоть и ночует под твоей крышей. Слушай внимательно... В субботу пойдешь на почту...

Козяков опять взялся за бутылку, на какие-то секунды задержал ее в руке, потом поставил на стол. Задумчиво сказал:

— Меня беспокоит только одно: почему Бабляк не подал условленного сигнала? Теперь та же история повторяется с Хмурым.... Если письма не будет, достань мне зимнее расписание поездов. Жду тебя в воскресенье. Понял?.. И не трусь. Со мной бедным не будешь. Я бумажками не расплачиваюсь. Бумажки в наше время только для одного дела годятся, если рядом лопуха нет.

— Я вам верю, — сказал Воронин. — Вы дворянин. Человек чести. Вы за идею мааетесь. А друзьям вашим я не верю. И вы не верьте. Ворюги они...

— Тише, — оборвал его Козяков. — Прикончат. И я воскресить не сумею...

Воронин промолчал. Собрался было уходить, но вдруг сказал:

— Странный парень — один из этих геологов...

Козяков вопросительно сдвинул брови.

— Вышел утром во двор. Озирился вокруг. Да и говорит мне: «Давно, дед, егерем служишь?» «Почитай, три-

дцать лет», — отвечаю. «Значит, и отца моего тут видел». «Красный командир», — говорю. Геолог, Аполлоном его зовут, усмехнулся. Да и сказал тихо: «С князем Кириллом отец, царство ему небесное, в этих краях бывал — смекаешь, дед?..» Я ответил, что с князем Кириллом много всякого люду бывало. Всех не упомнишь.

— Фамилией не интересовался?

— Спрашивал... Не рассказывает. Смеется: «Называй хоть горшком, только в печь не ставь».

— Занятно. — Козяков поднялся с постели. — Посмотреть бы на этих субчиков...

— Можно устроить.

— Следи за ними... Если что, дорогу знаешь... И про расписание не забудь...

Когда Воронин ушел, полковник Козяков собрал банду и сказал следующее:

— Четверть часа назад я получил радостное известие из центра. В ближайшие дни англичане и французы высаживаются на Черноморском побережье. От нас нужно только одно: собрать в комок нервы и силы. И быть готовыми к решающей схватке. Я даю вам слово офицера... Слово дворянина... что еще до первого снега Кубань будет свободной. А к рождеству, если это будет угодно богу, мы услышим звон московских колоколов...

Козяков вернулся в шалаш, вылил в стакан остатки водки.

«За ложь во спасение!» — произнес мысленно.

На душе было жутковато, точно он смотрел в пропасть.

4

Граф Бокалов узнал немногое...

Конечно же, он не мог узнать о Хмуром больше, чем знал сам Хмурый. А точнее, чем Ноздря. Потому что именно Ноздря поделился с Графом сомнениями. А Ноздря был битый-перебитый. И уже год молчал, как собака на морозе. И его никто не мог схватить за руку — ни угро, ни чека. Ноздря остерегался вынимать руки из карманов. Хотя, разумеется, мелкая контрабанда не обходила его стороной. Но только мелкая и верная. Без хвоста и подозрений.

С того самого дня, когда пьяный матрос с новороссийского буксира врезал Ноздре разбитой бутылкой и лицо

фарцовщика стало запоминающимся, как улыбка Моны Лизы, он предпочитал работать на дому. И у людей, знающих его поверхностно, могло сложиться обманчивое впечатление, что Ноздря исчез с «делового» горизонта, завязал. И пленился разведением парниковых огурцов. Или австралийских попугайчиков...

Граф Бокалов имел на этот счет свое мнение. Потому-то мальчики Графа и не теряли Ноздю из виду. Хотя Ноздря никогда так не опускался, чтобы скупать краденое, но он иногда не брезговал услугами карманников и форточников, то есть основных асов Графа.

Графу Бокалову исполнилось девятнадцать лет. У него были доверчивые голубые глаза, широкие плечи. А за плечами — количество краж, вдвое превышавшее возраст. Кличку «Граф» ему преподнесла шпана, знавшая, что он щедр на синяки и шишки и раздает их с ловкостью фокусника.

К чести Графа нужно отметить, что он почти не употреблял спиртных напитков, не курил. И лишь чуть-чуть баловался наркотиками.

Каиров «купил» Графа тем, что в юности сам был беспризорником, ходил по тихой фене¹, сидел и трижды бежал из царских тюрем. Вместо крика и угроз Каиров сразу же поделился опытом. Рассказал, как в 1903 году с двумя товарищами в одну ночь взял булочную купца Масохина, гастроном и часовую мастерскую... Граф позавидовал. Сказал, что молодежь нынче вырождается. Работают час — пьют неделю.

Потом Каиров принес книжки Горького. Кто мог подумать, такой великий писатель, а босяками не брезговал...

Граф не любил сентиментов. А к хорошему отношению просто не привык. И книги Горького, и беседы с Каировым... Все это было ново, будто он в первый раз нырнул с открытыми глазами.

— Имей я такого отца, как вы, — признался Граф Бокалов, — падла буду, никогда бы не оказался на этом месте.

— Вова, — назвал его по имени Каиров. — Ты не знаешь своего отца. А я знаю, кто был твой отец. Я все знаю, Вова, это моя специальность. Твой отец был красный командир. Его убили врангелевцы на Перекопе. Твой отец

¹ Мелкая кража (жаргон).

был большевик... Вова, все пемножко виноваты, что ты стал тем, кем ты стал. Но ты молод. Ты еще можешь исправиться. И я буду твоим отцом, Вова.

Они все обговорили с Каирым. И когда зашла речь, где Графу осесть после побега, вспомнили о Ноздре. Собственно, вспомнил Граф. И даже не вспомнил, а сразу, еще в первый раз, когда Каири заговорил о деле, Граф Бокалов подумал, что Ноздря и есть то самое тихое болото, в котором могут водиться черти.

Каири дал Графу номер своего телефона. На крайний случай. Предупредил, что Граф Бокалов должен вести себя так, как если бы на самом деле сбежал из тюрьмы. Любой опрометчивый поступок может навлечь подозрение. И тогда его постигнет участь Хмурого.

Пароль для связи: «Вы не подскажите, где мне найти сапожника?» — «Я могу чинить обувь, но у меня нет лапки».

Две недели назад, в субботу, в девять часов вечера, Граф Бокалов совершил «побег». Два выстрела вспугнули летучих мышей, гнездившихся в развалинах за городской тюрьмой. Дежурный записал о происшествии в журнал...

Почти сутки Граф отлеживался в заброшенной часовне. Мерцание крестов. Выкрики совы... От этих прелестей леденела кровь. К утру стало совсем холодно. Куртка на «молнии» не грела. Граф Бокалов подумывал о том, стоит ли торчать в этом мусорном ящике целый день. Не лучше ли сейчас же податься к Ноздре... Согреться чайком. Вздремнуть...

Но слово есть слово. Дал. Нужно держать. Каири не какой-нибудь трепач. Пижонов презирает. Требуется точного исполнения плана.

А план Граф помнит назубок. Дождаться вечера. И на морской вокзал...

День прошел без приключений.

Вместе с сумерками Граф вышел на набережную. Он был голоден, но это тоже входило в план. Каири верил в актерские способности Бокалова, но рисковать не хотел. Все должно быть натуральным. Без подделок.

Граф двигался по освещенной электричеством набережной, держась в тени платанов. Пахло пылью и лавровишней. И, как всегда, нефтью немного пахло тоже... В горпарке трубил духовой оркестр. Мужчина в пеленовой сте-

тапке ходил от скамейки к скамейке, предлагая вяленую ставриду.

У ларька, сделанного в виде большого винного бочонка, толпились забулдыги. Они чокались гранеными стаканами, курили, спорили, ругались...

Чутье подсказывало Графу: такое добычливое место могло ускользнуть из поля деятельности «мальчиков». И точно. Бокалов увидел знакомую тощую фигуру Левки Сивого.

Левка лез к стойке, прижимаясь к невысокому толстяку в белом чесучевом костюме. Лево́й рукой Сивый протягивал пустой стакан. Право́й... Можно было не смотреть. Можно было сесть на лавочку и взглянуть на звезды. Потому что правой рукой Левка обычно вытаскивал бумажники, закрыв глаза. И делал это так же ловко, как смежившая веки старушка безошибочно продолжает вязание на спицах.

Уже через десять секунд Левка деловито удалялся в сторону промтоварной базы Курортторга.

— Сивый! — позвал Бокалов.

Сивый остановился, удивленно повернул голову и, не веря своим глазам, произнес:

— Граф?!

Бокалов положил ему руку на плечо. Обнявшись, как два старых, добрых приятеля, они пошли по скверу.

— К твоей матери сегодня приходили из милиции. Сказали, что ты смылся.

Сивый замолк, дернул носом.

— И все? — спросил Граф.

— Объявишься, велели им сообщить...

— Сообщают сводки погоды. И то лишь для Москвы.

Ладно. Жрать хочется. Сколько выбрал?

Сивый раскрыл бумажник:

— Поужинать хватит...

От Сивого несло чесноком и папиросами.

— Босьяк ты, — сказал Граф. — Выходишь на вечерний променаж, а жрешь чеснок, словно цыган на ярмарке.

Сивый виновато ответил:

— Забыл я.

Они вышли к морскому вокзалу — двухэтажному выбеленному зданию с пузатыми колонами у входа и тяжелым лепным портиком.

На клумбе опадали последние цветы. Скамейки стояли грязные, и краска лезла с них так же охотно, словно шерсть с линялых кошек.

Фонарь на боковой аллее не горел...

Граф оглянулся. И схватил Сивого за локоть. На скамейке, низко опустив голову, сидела женщина. У ее ног стоял чемодан. Сивый понимал Графа без слов. Они подошли к женщине. Она дружелюбно посмотрела на них. Они увидели, что она молодая. С короткой стрижкой. Упрямым скуластым лицом. Женщина сказала:

— Мальчики, вы не подскажете, где мне найти сапожника?

— Я могу чинить обувь, но у меня нет лапки, — ответил Граф Бокалов.

Затем поднял палец и, как маленькому ребенку, пригрозил:

— Не пицать!

Сивый тяжело подхватил чемодан.

— Вы коллекционируете кирпичи, мадам? — спросил Граф. — У моего кореша прогибается позвоночник.

Женщина молчала. Только сжимала губы. И лицо было белым и плоским, как кусок стены.

В следующую секунду голова женщины дернулась, тело покосилось и ничком рухнуло на скамейку.

— Чудачка с перепугу отправилась в обморок, — заключил Граф. — Похряли... — И подумал про себя: «Какое? Сивому в голову не пришло, что все идет, как по нотам. Только ноты эти писал не композитор, а начальник милиции... Женщина молодец — настоящая актриса. Изобразила обморок на все сто. Она работает секретарем у Каирова. Я ее видел там. Каиров называл ее Нелли...»

Около часу ночи Сивый крадучись, словно кот, подошел к дому Ноздри. Оглянулся... Дом, деревянный, под железной крышей, выходил окнами на проезжую часть улицы, потому что тротуар пролегал лишь с одной, противоположной стороны, где стоял длинный кирпичный дом в три этажа; в полуподвале дома размещалась парикмахерская, скобяной магазин и мастерская «Гофре, плиссе».

Над входом в парикмахерскую светила небольшая лампочка.

Сторож ходил у гастронома, который находился на углу улицы Пролетарской, метрах в ста от дома Ноздри.

По правой стороне улицы, рядом с домом Ноздри и дальше, до самого Рыбачьего поселка, темнели такие же деревянные дома, с садами и огородами. Брехали собаки. Но к этому уже давно все привыкли, как и к выкрикам петухов по утрам.

Сивый постучал в ставень. В доме хлопнула дверь. Кто-то вышел на застекленную веранду. Простуженно спросил:

— Кого нелегкая носит?

— Силантий Зосимович, свои. Лева я.

— Какой Лева? Сивый?

— Да, да... Силантий Зосимович.

— Чего хочешь? — сердито спросил Ноздря, приоткрыв дверь, насколько позволяла цепочка.

— Граф Бокалов просит на пару слов.

— Граф на курорте. Любой босяк в городе это знает, — возразил Ноздря.

— Времена меняются, — сказал за забором Граф.

Ноздря распахнул дверь, по скрипучим ступенькам спустился во двор. Подошел к калитке. Злобно лаявший пес, узнав хозяина, радостно завизжал. Громыхала заржавленная цепь. Сонно выкрикивали куры. Запах куриного помета, мочи, псины и вяленой ставриды держался во дворе стойко.

Калитка закрывала Ноздре рот. И он положил ребром кирпич. Встал на кирпич, схватившись руками за верх калитки. Он был на редкость осторожный, точно старый секач, чувявший охотника на расстоянии.

— Добрый вечер, Силантий Зосимович, — вежливо приветствовал Граф.

— Спокойной ночи, — пробурчал в ответ Ноздря.

— Спасибо за теплые пожелания. Только я вторую ночь зуборя втыкаю...

— Это точно, — подтвердил Лева. — Граф позавчера вечером отвалил...

— Я не батюшка. Зря исповедоваться пришли, — недовольно ответил Ноздря.

— Товар есть, — сказал Граф.

— Краденое не скупаю.

— Может, адресок подскажете.

— У Левки что? Память отшибло?

— Кузьмич такое не берет... И Мария Спиридоповна тоже, — оправдывался Левка.

— До свиданья. Бывайте здоровы. Абсолютно ничем помочь не могу... — Ноздря слез с кирпича. Над калиткой торчал только его нос, длинный и загнутый, словно крючок.

— Ну, сука! — взорвался Граф. — Мешок с трухой, ты еще припомнишь нашу встречу. И десять кобелей не устергут твою поганую конуру. Мне терять нечего. Меня угро по всему городу ищет. В меня стреляли!

— Не ори, психопат! — оборвал его Ноздря. — Что за товар?

— Чесодан кофе. В зернах.

Ноздря поперхнулся от удивления. Сопя, открыл замок. Подалась калитка. Покряхтывая, Левка втащил чемодан во двор.

В дом Ноздря их не повел. Они обогнули курятник и очутились в маленьком сарайчике. С полками во всю стену, на которых что-то стояло. И хотя было темно и ничего не было видно, Граф знал: в таких сараях обычно хранят банки, пустые бутылки, столярные и другие инструменты и еще разную рвань: тряпки, плащи, старую обувь. Все это, конечно, покрыто пылью. И пауки живут по углам припеваючи.

Ноздря чиркнул спичкой. Просунул руку под полку. Щелкнула задвижка. Полка подалась на Ноздю. В стене открылось отверстие, ведущее под пол.

Граф кивнул Левке, чтобы он лез первым. За Левкой Бокалов любезно уступил дорогу Ноздре. И последним спустился сам. Погреб оказался небольшим квадратным ящиком из бетона, размером примерно два на два.

Электрическая лампочка светила на стене. Она была ввернута не в простой патрон, медный с белым фарфоровым ободком. Такие патроны продавались на базаре, в скобяном магазине. Их можно увидеть в любой квартире города. Нет. На стене висело бра, вероятно переделанное из позолоченного подсвечника: пузатенький ангелочек с пупочком держал в руке рожок. В этот рожок и ввинчивалась лампочка.

Может, Ноздря купил бра у какого-нибудь ворюги, но не рискнул повесить его в комнате.

У стены под бра стоял высокий сундук, на котором лежала овчинная шуба,

Чемодан открыли. Крупные кремовые зерна кофе лежали, словно мелкая прибрежная галька.

— Турецкий, — сказал Левка.

— Ты-то, сопля, знаешь! — съязвил Ноздря.

— Что ж я, Силантий Зосимович, турецкого кофе не видал? Я даже пил его...

— В Турции кофе вообще не растет, — сказал Ноздря.

— В Турции все растет, — возразил Левка. — И табак, и кофе. Я сам в ресторане «Интурист» такое блюдо видел — турецкий кофе.

Ноздря отмахнулся от него, как от мухи.

— Сколько хочешь?

— Одежду соответственно сезону. И укромное местечко на неделю, разумеется с харчовкой. Отлежаться надо, пока фараоны решат, что я все-таки в Ростов прорвался.

— Беру, — сказал Ноздря.

Граф устало опустил на сундук.

— Задешево отдает, — сказал Левка. — Вы бы видели, Силантий Зосимович, как мы накололи чемодан. Прима! Высший класс. Дамочка в обморок. Граф — жентельмен...

— Пока будешь находиться здесь. Подушку принеси. — Ноздря кивнул Левке: — Помогите! — Левка потащил чемодан наверх. Ноздря поднялся за ним.

— Жратвы не забудь, — напомнил Граф.

Они вернулись минут через десять. Граф дремал, привалившись на тулуп.

— Сутки средь могилок ховался, — сказал Левка. — Как подумаю: гробы, покойники... Аж дрожь берет... Вставай, Вова.

Ноздря принес бутылку самогона, запечатанную туго свернутым газетным пыжом, полдюжины сырых яиц, малосольный огурец, пяток помидоров и ворох вяленой ставриды.

— Барахло завтра подберу.

— Чтоб приличное было, — напомнил Граф, потирая кулаками глаза.

— Как чижики, оденем, — успокоил Ноздря.

...Тогда они выпили крепко. Видимо, Ноздря считал сделку удачной. Он еще раз сбежал за бутылкой. И еще раз...

Захмелев, Ноздря болтнул, что к нему заходил Хмурый. Они крепко-крепко «поддали». И Хмурый держал себя, как метр. Говорил, что напал на золотую жилу и

намерен обеспечить себе беззаботную старость «на том берегу». Какой это берег, Ноздря не уточнял, но догадался, что турецкий.

Хмурый обещал не забывать Ноздю, если Ноздря будет помнить его, Хмурого.

Глаза у Хмурого были маслянистыми, и он говорил, что стосковался по женщинам, но ему, дескать, нельзя впадать в разгул. У него должна состояться деловая встреча. Важная встреча, которая сыграет в его судьбе поворот... Уходя, Хмурый просил Ноздю подумать, найдется ли где подходящее место: тайничок, надежный и безопасный. На всякий случай, если придется что спрятать.

Больше Хмурый не приходил. Однако Ноздря знал Хмурого не первый год. И был уверен: такой делец зря слов на ветер не бросает...

В конце концов Ноздря упился до чертиков и со слезами умиления лез целоваться к Графу, называя его сыном, родненьким.

Левка уволок Ноздю лишь на рассвете.

Граф накрылся тулупом и уснул...

5

Несколько дней Анастасия видела геологов только через окно. Даже после разговора с полковником Козяковым Воронин не велел ей показываться во дворе. Он сказал, нужно выждать, присмотреться, что это за люди. Хорошие или плохие. И пусть даже хорошие. Все равно следует остерегаться. Потому что даже самый хороший, увидев такие волосы и глаза восемнадцатилетней девицы, может натворить столько дел, угодных черту, что потом никакими молитвами не откупишься.

Анастасия никогда не замечала, чтобы Воронин молился или стоял перед иконами. Но помянуть имя господя всуе с неприличным словом он любил. И делал это особенно громко. Быть может, из-за того, что жена его, сгорбленная, сердитая старушка, была туговата на ухо.

Некоторое время Анастасия не знала, как вести себя с хозяйкой дома. Лицо этой неприветливой женщины и глаза ее казались Анастасии загадочными, а порою одержимыми. Но была ли это одержимость или какое-то обостренное состояние нервов, а может, всего сложного комплекса, который называют психикой, — определить трудно.

Анастасия и Матрена Степановна относились друг к другу настороженно. Хозяйка приглашала Анастасию к столу в завтрак, обед, ужин. Девушка, поев, благодарила и уходила в свою комнату. Кажется, на второй день пребывания в доме егеря Воронина Анастасия хотела вымыть после завтрака посуду. Матрена Степановна сухо сказала:

— Я сделаю это лучше.

Воронин тут как тут:

— Вы, барышня, не извольте беспокоиться. — И добавил: — С вашими ли пальчиками в помоях возиться. Цыпки наживутся!

Вскоре она поняла, что хозяйка недолгобливает ее и потому относится с подчеркнутой холодностью. Но это не очень взволновало Анастасию. Нет, отношение людей не было для девушки безразлично. Сейчас ее беспокоило другое — отец, воскресший словно из пепла...

Как-то хозяйка истопила баню. И Анастасия мылась. Вначале одна, а потом пришла Матрена Степановна. Она помогла девушке мыться и, глядя на нее, неожиданно сказала по-матерински тепло:

— Кожа-то у тебя какая! Одно слово — господская...

— Зачем вы так?

Хозяйка вздохнула:

— Батюшка ваш, чтоб им на том свете черти подавились, не любит вас, не жалеет. Лиходей он, сколько жизней тут, на Кубани загубил. И вас, Настенька, погубить хочет. Креста на нем нету. Тикайте вы отсюда к своей бабушке, пока не поздно.

— Почему вы так говорите? — возмутилась Анастасия. — Он за свое борется. Новая власть все у нас забрала.

— Молода ты еще, дочка. Ох как молода!.. И старую власть, стало быть, не видела. А меня при этой самой власти без всякого моего согласия вот за этого волка отдали. Мне же в пору ту и семнадцати годочков не исполнилось. И груди мои были такие высокие, как твои, и ноги тоже розовые. А волосы, они до сих пор у меня густые, сама видишь... Власть-то старая к нам из самого Петербурга приезжала. Насмотрелась я... Князь великий, значит, кобель кобелем. И женщины с ними гадючие... Някем не брезговали. Моим хозяином тоже. А он перед ними вертелся, как кот линялый.

— Бедняжка вы, — пожалела Анастасия, — Зачем же вы с мужем-то своим остались? Ушли бы,

— Уходила... Нашел он меня. Избил так, что в позвонках хрустнуло. С тех пор разогнуть спину не могу.

— Жестокий он, — согласилась Анастасия,

— Вся порода у них такая...

Высокий, плечистый, стройный, с седящей головой и вислыми запорожскими усами, Воронин одним своим взглядом пугал Анастасию.

Однажды он вошел в ее комнату. Настенька сидела на кушетке, поджав ноги. Читала французскую книгу. Французскому языку ее научила мать. Мать была женщиной, совершенно не приспособленной к новой жизни. Но французский язык знала лучше, чем русский. За год до смерти она начала особенно серьезно заниматься с дочерью. И Анастасия не только свободно говорила по-французски, но и читала, и писала. И больше того, иногда даже думала на французском языке.

Воронин остановился перед кушеткой. И Анастасия, не поднимая взгляда, сжалась в комок, будто ждала, что он подомнет ее, раздавит.

— Так запомните еще раз... Вы моя племянница, приехали из Ново-Минской. Тятка с мамкой от тифу, а может, от голоду померли. Наряды свои московские — платьица, туфельки — подальше заховайте. И книжки эти тоже. Племянница кубанского казака не может читать по-английскому или немецкому...

— А по-французскому может?

— Нет.

— Хорошо, — прячась за раздражение, как за щит, сказала Анастасия. — Я выполняю все, что вы сказали. Но я хочу видеть отца.

— Сейчас это невозможно.

— Тогда я возвращаюсь в Москву. Мне надоело затворничество. Я не привыкла к такой жизни, без друзей, без подруг...

— Отпускать вас отсюда не велено. Я за сохранность вашу башкой отвечаю.

— Ничего не понимаю. Ничего... Я напишу отцу...

— Только не сегодня... На следующей неделе. Всему свой срок.

Анастасия поднялась. Она доставала Воронину до подбородка. Почувствовала тошнотворный запах табака и са-

могона. Ощутила слабость. Может, поэтому ей показалось, что он обязательно бросится на нее. Сейчас, сию минуту... Она шагнула вправо. Прильнула к окну.

— Барышня, — сказал Воронин. — На чердаке в стружке хранятся груши и яблоки...

— Принесите, — оборвала Анастасия. Она считала, что нужно показать характер. И насмешливо добавила: — Или вы хотите подняться со мной на чердак?

— Мы хотим, чтобы у вас не был бледный цвет лица, — сказал хмуро Воронин. И кашлянул.

На другой день...

Геологи куда-то ушли еще ранним утром. С рюкзаками, кирками, лопатами. И пелена дождя скрыла их, как скрывала и горы, и дорогу...

Сам отлучился из дому вчера к вечеру, велел женщинам крепко запираться и не впускать в дом никого ни под каким предлогом.

Старуха пекла хлеб. Анастасия любила смотреть, как жена Воронина возится у печи, совершая удивительное таинство серьезно и молчаливо. И в доме, и даже во дворе стоял запах свежего хлеба, сладковатый, хмельной запах...

Часам к трем погода прояснилась. Небо стало синим-синим, с круто замешанными белыми облаками, которые плыли с юга над вершиной горы.

Анастасия подошла к ограде. И смотрела вверх. Ощущение времени исчезло незаметно, как порою исчезает боль.

— Добрый день или, вернее, вечер, — сказал мужчина. И она сразу узнала самого молодого из геологов, которого несколько раз видела из окна.

Аполлон улыбался, глядя на нее чуточку смущенно. Щеки у него покраснели. И она тоже почувствовала, что не в силах скрыть румянец. Хотя за последнее время привыкла к пристальным, а порою откровенно восхищенным взглядам мужчин.

— Я так и думал, что у старого егеря есть все основания прятать свою племянницу.

— Разве такие основания вообще могут существовать?

— Да. Посмотрите в зеркало.

— Я не верю зеркалу. Лучше в воду...

— Вы говорите так, словно всегда жили в лесу. А меж-

ду тем в вас много городского. Вы не похожи на внуку кубанского казака.

Аполлон, не стесняясь, разглядывал ее тонкие, белые пальцы, длинные, заостренные ногти.

— Молодые девушки везде одинаковы, — ответила Анастасия. Ей все-таки нравился этот геолог из Москвы. И она добавила: — *Le printemps de la vie ne revient jamais*¹.

Аполлон усмехнулся:

— *On a tous les ans douze mois de plus*².

— Вот именно. — Анастасия силилась побороть смущение. И даже страх. Как ни суди, но внучке или там племяннице кубанского казака ни к чему болтать по-французски с незнакомым человеком. Однако что-то было в этом мужчине располагающее к откровенности. Кажется, глаза, умные и ласковые. Она не могла сердиться, глядя в них. Она только сказала:

— До свидания.

6

Каиров сразу узнал певучий голос уполномоченного ГПУ. Даже в трубке чистый и немного протяжный, будто человек, произносивший слова, хотел их пропеть, но потом передумал, а звучание осталось.

— Мирзо Иванович, милый, ожидаешь?

Каиров ответил:

— Мирзо Иванович человек терпеливый. Более терпеливый, чем квочка.

Уполномоченный захохотал:

— Так не пойдет... Мужчина! Азиат! И вдруг квочка. А почему не сокол, высматривающий добычу.

— Какой сокол?.. Зачем душу крутишь? Говори. прямо, ты ко мне придешь или я к тебе.

— Ни то и ни другое. Сапожник молчит.

— Значит, еще не время.

— Там виднее.

— Звони.

— Домой?

— Что говоришь? — удивился Каиров. — Я у себя. В милиции. Часы есть. Смотри на стрелки.

¹ Дважды в год лета не бывает (франц.).

² Стар будешь, а молод — никогда (франц.).

Была пауза. Видимо, уполномоченный действительно смотрел на часы.

— Двадцать минут третьего, — донеслось из трубки.

— Вот видишь. Скоро утро.

— Хорошо бы выпить крепкого чая. Всего, Мирзо Иванович.

Положив трубку, Каиров очень зримо представил большой фарфоровый чайник с двумя красными маками на боках, которым уполномоченный гордился, солдатскую эмалированную кружку и подумал, что неплохо бы и в милиции завести чайник, а может быть, и самовар, чтобы вот такой глухой ночью ребята могли побаловаться кипятком. Он и сам любил горячий чай со свежей душистой заваркой. И чтобы варенье было в кругленьких белых розетках, с какими-нибудь маленькими цветочками, вишневое варенье, сливовое и обязательно из алычи. И хорошо, когда за окном ветер, и голые ветки трутся о стекло, и тучи спешат, деловые, озабоченные... Тогда чай — уже не чай, а наслаждение, словно добрая баня или верховая езда. Впрочем, при одном условии: если на сердце не щемит, если на сердце все спокойно. В противном случае лучше пить вино, или чачу, или простую водку. Но только немного, ради просветления...

Каиров стиснул виски ладонями, голова раскалывалась и без вина. Он поднялся. Медленно подошел к двери, погасил свет, щелкнув выключателем, и вышел в коридор.

Дверь в туалет была распахнута. В коридоре пахло хлоркой и аммиаком, и слышно было, как журчит вода, заполняя бачок.

«Кто из врачей дежурит сегодня в милиции?» — подумал Каиров, но вспомнить не смог.

Доктор Челни сидел за столом в сером двубортном пиджаке, белой накрахмаленной рубашке, при галстукке цвета морской волны. Перед ним на газете пытел никелированный чайник, на блюдах стояли две чашки, высокие, темно-бордовые, с золотой каемкой, а ручки у них были такие тонкие, такие изящные, что боязно было притронуться. В маленьких белых розетках лежало варенье. И на розетках были нарисованы мелкие цветы. Каиров различал это ясно.

Челни виновато сказал:

— Я совсем забыл про вишневое варенье. Но это из

персиков, — он показал на среднюю розетку, — необыкновенно ароматное. Я бы сказал, нектар.

Каиров на какое-то время закрыл ладонью глаза. Ему показалось, что он спит стоя. Не отнимая ладони, он глухо проговорил:

— Я пришел за таблеткой, Семен Семенович. Пожалуйста, как в прошлый раз. Тогда головная боль прошла быстро и усталость вместе с ней тоже.

— Кофеин, — засуетился Челни, семенящей походкой подошел к шкафу, растворил дверки, выдвинул верхний ящик. — Вот.

Он вынул из бумажного пакетика белую таблетку.

— Запьте чаем. При содействии горячей воды она быстро растворится в организме. Через три — пять минут вы почувствуете облегчение. Садитесь, Мирзо Иванович.

Челни подвинул к нему чашку и налил в нее чай.

Каиров понял, что он не спит, а только очень устал. И не дело, и не время удивляться по поводу такого пустяка, как накрытый для чая стол.

— Сегодня спокойная ночь, — сказал Челни, может, просто для того, чтобы начать разговор.

— Ночь и должна быть спокойной. Так задумано природой. К сожалению, не все задуманное осуществимо.

— Потому что мир вещей существует вне нашего сознания...

— И каждая вещь в себе принципиально непознаваема.

— Вы читали Канта, Мирзо Иванович?

— Когда в пятнадцатом году я сидел в Екатеринодаре в политическом изоляторе, у меня было время и на чтение, и на раздумья...

— Вам не кажется, что Кант сильно страшился будущего? И только потому хотел примирить идеализм с материализмом.

— Красивые домыслы, Семен Семенович. Кант путал божий дар с яичницей.

Челни иронически улыбнулся:

— Так просто.

— И вульгарно. Подумали, но не сказали. — Каиров поставил пустую чашку на блюдце и отодвинул от себя. — Правильно подумали. Правильно... Но я не буду оправдываться, напоминать, что в сутках двадцать четыре часа. И у меня нет времени на философию Канта, рыб-

ную ловлю и домино. Даже если бы к суткам добавили три часа или пять, все равно я не стал бы заниматься Кантом. У меня другая задача. Борьба с преступностью. Вот на эту тему я готов говорить с увлечением, как юноша о любимой. А четыре антиномии Канта лучше оставить философам. Хотя одна из них весьма любопытна.

Челни:

— Положение: в мире существуют свободные причины. Противоположение: нет никакой свободы, а все есть необходимость. Вы имели в виду эту?

— Семен Семенович... Вы угадали. И я могу раскрыть вам тайну. Я сторонник противоположения. Все в жизни порождается необходимостью... Кстати, что вы думаете о корнях преступности?

— Они разные, — сказал Челни. — Меня, Мирзо Иванович, в молодости интересовали корни религии. Не знаю, известно ли вам, что в начале девятнадцатого века в Индии было раскрыто древнее религиозное общество фансегаров, или, как они называли себя, «братьев доброго дела». Братья поклонялись некому божеству Бохвани, самыми желанными приношениями для которого были человеческие жизни. Формула в основе лежала весьма примитивная: блага на том свете находятся в пропорциональной зависимости от количества жертв, принесенных божеству.

— Занятно, — согласился Каиров.

— В религии многое идет от плутовства, от шулерства. Социальные наслоения легли позднее. Не случайно отмечал Вольтер, что религия произошла от встречи дурака с обманщиком.

Каиров засмеялся:

— С вами беседовать — одно удовольствие.

Голова больше не болела. После таблетки, после выпитого чая была бодрость, которую, казалось бы, способен вернуть лишь хороший сон.

Уже у дверей Каиров обернулся, внимательно посмотрел на Челни:

— Семен Семенович, только честно, вы не умеете читать чужие мысли на расстоянии?

— Мне бы так хотелось соврать, сказать «да».

— Тогда откуда это? — Каиров показал рукой на стол. — Чай, варенье... Розетки,

— Жена. Все жена... Настояла, чтобы на дежурстве при мне был горячий чай, варенье...

— Это у вас вторая жена?

— Да... — грустно ответил доктор. — Моя первая жена умерла в Одессе. От брюшного тифа. Я девять лет был верен ее памяти...

— Извините меня, Семен Семенович.

— Нет, нет... Минутку. Позвольте, я закончу свою мысль. Так вот. Вскипятив чай, я увидел из этого окна, что ваша машина стоит у подъезда. Я понял, вы здесь. И решил пригласить вас на чай. Однако вы опередили меня, словно прочитали мои мысли.

— Ловко вы это повернули. Вам надо бросить медицину и заняться адвокатской практикой.

— Возможно, вы правы. Возможно, восемнадцатилетним гимназистом я совершил ошибку.

...Каиров вернулся в свой кабинет. Телефон надрывался.

— Слушаю, — сказал Каиров.

— Приезжай, Мирзо Иванович, — сказал уполномоченный ГПУ.

Через минуту машина, фыркнув белым дымком, крепко пахнувшим бензином, выползла на шоссе и помчалась по городу. Луна висела над крышами. Но небо было не очень темным, а словно выцветшим. Где-то далеко на окраине лаяли собаки. Город спал...

Машина остановилась. Каиров широким шагом вошел в один из подъездов трехэтажного дома, на фасаде которого лепилось много различных вывесок: «Рыбхоз», «Райфо», «Заготскот»... И справа, под пыльной лампочкой: «Уполномоченный ГПУ».

Некоторое время спустя Каиров вышел из подъезда, сел в машину. Бросил шоферу:

— Домой.

Передумал.

— Нет. Сначала в порт.

Спать не хотелось. До сна ли после такого известия: сегодня в 2 часа 47 минут операция «Парижский сапожник» началась.

Глубокая ночь. Быстро бегут облака. И луна словно купается в них. Ветер холодит землю. Холодит деревья. Холодит листья. Последние незеленые листья. Он срывает их. Бросает под ноги лошадям.

Шестеро верховых всадников и две лошади без седоков пробираются по узкой размытой дороге, ведущей к дому егеря Воронина. А вот и сам дом. Он стоит на бугре. И его белые стены видны далеко, точно паруса яхты.

Сипло дышат лошади. Цокают копытами о вымытые камни...

Всадники останавливаются в тени раскидистого граба. Спешиваются. Привязывают лошадей.

Один из них, видимо начальник, решительно говорит — Обождем минуту. Сейчас туча луну проглотит... Петро остается здесь. Соболев идет к дому Воронина. Мы вчетвером — к даче...

...Анастасии не спится. В комнате душно. Так душно, что не уснуть, даже сбросив одеяло. «Ну и дикая привычка у моих хозяев закрывать на ночь ставни. И не просто закрывать на крючки, а закладывать поленом... Конечно, если всю жизнь прокоптеть здесь, как эти стены, ничто не будет казаться диким. Я зря злюсь. И на старика особенно. Он, конечно, хитрый мужик. Зверь. Да это и понятно — от рождения дела со зверями имел. Не случайно у моей кровати шкура рыси лежит.

Как мне надоело торчать в этой дыре. И отед... Чем он занимается? За два месяца я видела его всего один раз. И зачем он здесь? Где же обещанный Париж и вилла в Плезансе? «Обожди, дочка, скоро Кубань будет свободной». Говорит, а по голосу чувствуется, что и сам не верит. «Я собой не распоряжаюсь!» Кто же им распоряжается? Борец за идею. Не хочет ли он объявить себя императором Кубани? Интересно, как чувствуют себя дочери императоров? Им все можно или не все?

А ставни я попробую открыть!»

Анастасия опускает ноги на ворсистую шкуру. Ощупью находит чувяки. Крадучись добирается до окна.

Засов — толстое, обтесанное полено — поддается с трудом. Девушка напрягает силы... Есть! Прислонила засов к стене. Распахнула створки ставней. Повернула задвижку. Форточка откинулась вправо. Вот он, свежий воздух. Как

лёгко дышится! И приятно, точно в жаркий день утоляешь жажду.

Аполлон! Он смотрел на меня, словно я редкий минерал. «Вы не похожи на здешних девушек». А на Клеопатру я похожа?

Чужие шаги врываются в тихое бормотание ветра. Кто-то идет к дому. Шум на даче. И выстрелы. Один, второй, третий...

Люди злобно ругаются...

Чья-то фигура метнулась мимо окна, исчезла в кустах за забором. Потом другой человек кричал:

— Стой!

И палил из пистолета...

В доме Воронина произвели обыск. Ничего подозрительного не нашли. Но главный — в серой каракулевой папахе, в длинной кавалерийской шинели, как положено, с раструбами на рукавах, в пахнущих сапожным кремом сапогах с блестящими шпорами, которые время от времени позвякивали, с пистолетом в руке и шашкой на боку — говорил Воронину:

— Как же ты не доглядел? На каком таком основании беляков пригрозил?

— Геологами они назвались. Справки показывали, — оправдывался Воронин.

— Справки... Бандиты они, а не геологи. Шайку сюда создавать приехали. Забрать тебя, дед, нужно.

— Что же я? Я документам Советской власти верю. Бумага печатями пропечатана, — Воронин говорил неторопливо. И в голосе не чувствовалось волнения. Вот только глаза недобро горели, как у зверя.

Главный удобно сел на стул. Сдернул папироску. Прикурил от лампы. Сказал:

— Фамилия ваша Воронин?

— Она самая.

— Поскольку одному из бандитов удалось скрыться, — продолжил главный, — и он представляет опасность для населения, точно голодный волк, вы, товарищ Воронин, должны нам помочь.

Егерь понимающе кивнул.

— Что вы знаете о сбежавшем бандите?

— Зовут его Аполлоном. Роста высокого. Волосы светлые. Молодой. Лет тридцать будет... Веселый. Всегда песенки напевал... Происхождения высокого. Про отца ска-

зывает, что тот самому князю Кириллу близок был... Больше ничего не знаю.

— Бдительности у тебя, отец, нет... Не пролетарской закалки ты человек... Да ладно... Из этих мест бандит далеко не уйдет...

— Из этих мест можно уйти в самую Турцию, — скептически возразил Воронин.

— Если знать дорогу, — многозначительно заметил главный. — Так вот, Воронин, коли бандитский Аполлон появится в ваших местах, постарайтесь задержать его силой или хитростью. И сообщите к нам в кавалерийский отряд или в отделение милиции.

Через четверть часа кавалеристы покидают хутор Воронина. Шестеро с карабинами. И между ними профессор и Меружан — руки связаны за спиной.

Луна по-прежнему купается в облаках. Только облака стали больше и плотнее.

Где-то воют шакалы...

Прибывает ветер. Кажется, днем опять польет дождь.

Кавалеристы останавливаются подле граба. Приветливо ржут лошади. Главный поворачивается и смотрит на белый, словно бумажный, дом Воронина. Потом решительно достает нож... и разрезает веревки, стягивающие руки профессора и Меружана.

— Мы вас не сильно помяли, товарищи?

«Профессор» шевелит затекшими кистями рук.

Меружан говорит:

— И холостым выстрелом можно запалить волосы, если стрелять прямо в чуб.

— Перестарались, — говорит главный.

Кавалеристы негромко смеются.

— По коням!

Осторожно ступают кони. Постукивают о камни копыта.

Восемь всадников скрываются в ночи...

8

Пуговиц двадцать штук. Маленьких, перламутровых, сидящих одна возле другой. Они удлиняют платье Варвары, и без того длинной и тонкой женщины. И платье зеленое, и глаза зеленые. И волосы, густые, спадающие на плечи, тоже какого-то зеленоватого отлива. Но в этом

но следует выпить Варвару. Она хотела сделать локоны золотистыми. Но заграничные химикаты, которыми даже в их парикмахерской — лучшей в городе, где все вывески и объявления пишутся на двух языках, русском и английском, — даже в их парикмахерской эти химикаты давали иногда самые неожиданные результаты.

Варвара меняет иглоку. Опускает мембрану на черпный диск пластинки. Игриво улыбается гостям. Левка пыжится. Распрямляет грудь. Приглашает Варвару. Она кладет руку на его плечо. Чуть наклоняет голову. Волосы дождем сыплются на Левкину щеку, попадают на губы. Левка доволен, как кот, вылакавший сметану.

Граф Бокалов в небрежной позе развалился на диване.

Варвара на семь лет старше Левки. И вдруг любовь...

Бокалов немножко выпил. Коньячку. Граф либо совсем не пьет, либо пьет очень мало. Левка и Варвара накурнулись американских сигарет. В комнате плавают круги белого сладковатого дыма.

Иголка чуть дерет пластинку. Вероятно, пластинка заиграет. Певец томно поет:

Листья падают с клена,
Значит, кончилось лето.
И под сумрачным небом
Стоят дома.

Варвара не парикмахер. Она маникюрша. В женском зале.. У нее пухлые губы. Яркие, как конфетная обертка. И может, оттого, что она сама худая, а губы пухлые и глаза широкие, точно спичечные коробки, нос на лице незаметен. Он у нее маленький, с горбинкой. И ноздри хищные...

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви.

— Ой, мальчишки, — говорит Варвара, когда они возвращаются к столу. — Сегодня до обеда случай был. Умора! Приходит такой месье. Костюмчик — обомрешь... И цвета, сказать не могу, какого. И синий, и серый. Одним словом, Париж! Садится за мой столик. Попочет что-то по-французски. На ногти показывает. Делаю ему маникюр. Сама, как требуется, улыбаюсь глазами. Он... Интересный. Песенку мурлычет. Пальцами в пузырьки с лаком тыкает;

насчет цвета указания дает. Обслужила его по первому классу. Ногтями любит. Доволен. И опять что-то говорит по-французски. Я ему в ответ улыбаюсь и киваю головой. Приличия ради. Он еще в большой раж входит. «О! О!» — кричит. А потом берет, паразит, разувается. И потные свои лапы кладет на мой венский столик. У меня глаза на лоб. Я к заведующей... Но Полина Абрамовна только на немецком языке разговаривает и на английском... Кроме русского, разумеется... Кое-как она ему разъяснила, что мы педикюр не делаем. Он опять: «О! О!» — кричит. Только не радостно. Потом хлопает себя по кумполу. И достает из кармана два флакона парижских духов. Смотрите, как оригинально сделано...

— Эйфелева башня, — поясняет Бокалов.

— А ты откуда знаешь? — удивляется Варвара.

— Граф все знает, — авторитетно заявляет Левка Сивый.

— А запах! Настоящая роза! — восхищается Варвара. — Вот понюхайте.

Граф вдыхает аромат парижских духов. Спрашивает:

— Чем все кончилось?

— Ах! Чего ради французских духов не сделаешь! — призналась Варвара. — Да и Полина Абрамовна поддержала. Говорит, не расстраивайся, Варечка, педикюр — это тоже работа.

— Выпьем за педикюр! — предложил Граф.

— И за любовь тоже, — сказал Левка.

— Нет! За работу и педикюр. За француза и торгсин, что в переводе на русский язык означает торговлю с иностранцами.

— А не взять ли нам торгсин? — предложил Левка, морщась от лимона.

— При такой охране... Нереально, — ответил Граф.

— Можно продумать...

— Нереально.

Варвара поддержала Графа:

— Не зарься на государственный карман, Лева. Разве ты больше не любишь меня?

— Люблю, — сказал Лева.

— И я тебя люблю... Мальчики, — Варвара понизила голос до шепота, — есть одна квартира на примете. Провалиться мне на этом месте, если вы не поймете там вшей.

— Что в переводе на русский язык означает золото, — весело заметил Левка.

Варвара встала и, не ожидая ответа, подошла к патефону. Стала крутить ручку.

— Нужно обмозговать. И все взвесить, — осторожно сказал Граф, которому Каиров строго-настрого запретил принимать поспешные решения.

— Что за квартира? — спросил Сивый.

Варвара поманила ребят пальцем к окну. Выключила свет и раздвинула штору. Напротив, в густом вечернем сумраке, висели окна пятиэтажного дома.

— Считайте. Четвертый этаж, шестое окно с того края. Темное. Там никогда не горит свет... Хозяйка квартиры интеллигентная старушенция. Я еще девчонкой запомнила ее. У нее был муж. И двое сыновей. Все белые офицеры. Муж, кажется, погиб, когда красные входили в город. А сыновья бежали с Кутеповым... Я второй год наблюдаю за ней. Головой ручаюсь, есть у нее золотишко. А может, и не только золотишко. И мне представляется, что она не посмеет заявить в милицию.

Комната, в которой происходил разговор, была достаточно большой, но загроможденной мебелью, высокой, темной, с резным орнаментом по дубу. Стол расплюснулся в центре на толстых, как тумбы, ножках. Полукресла, обшитые красным плюшем, стояли вдоль стола и справа, и слева от двери, скрытой желто-золотистой портьерой.

Вместе со старой матерью Варвара занимала комнату, просторную прихожую и-кухню. И хотя это нельзя было назвать отдельной квартирой — туалет находился на другой стороне лестничной площадки, — все равно жилье очень устраивало Варвару и ее мать. Здесь не было любопытных соседок, споров и склок на кухне...

Эта удобная комната осталась им в наследство от деда, известного в прошлом ювелирного мастера. Когда-то дед имел свою мастерскую с громадной розовой вывеской на Малороссийской улице и трех помощников. С оборотом в несколько сот тысяч. Его клиентами были жены самых богатых и уважаемых людей в городе. Дворники и мелкие ремесленники кланялись ему в пояс.

В июле 1903 года прибыла на гастроли в город группа артистов из Екатеринодара. Приехала деньжонка подзаработать, в море покупаться. Выступали артисты в летнем театре на голубой эстраде, сделанной в форме рако-

вины. И была там, среди прочих примадонн, одна такая, цыгапистая. Роза Примак. Молодая, лет девятнадцать. Песни душевно исполняла. И особенно «Очи черные». Бывало, заведет:

По обычаю петербургскому,
По обычаю древнерусскому...
Нам нельзя никак без шампанского
И без табора, без цыганского...

Как аплодировали, как на «бис» вызывали. Что там цветы — лавочки кошельки бросали...

Люди говорят: седина — в голову, а бес — в ребро. Влюбился ювелир в певичку. Стыдно признаться, светлячков с нею ночью в парке ловил, со скамейки прыгал, будто дочери его не двадцать лет было, а только двадцать месяцев.

За один сезон Роза разорила деда. И плаксивой осенью убыла в Екатеринодар вместе с труппой. А дед, лишившийся сразу всего — мастерской, семьи, честного имени, — снял вот эту комнату с широкой прихожей.

Он много пил. Напившись, буйствовал. На какие средства жил, никто не знал. Полиция подозревала его в связях с контрабандистами. Вполне возможно, что филеры не ошибались. Знания деда по части золота и драгоценностей могли пригодиться молодым и ловким контрабандистам.

Осенью восемнадцатого года деда зарезанного нашли на камнях в ближайшей гавани. Что занесло его на эти громадные бетонные глыбы, в беспорядко лежавшие друг на друге, куда лишь иногда наведывались любители рыболовы, остается загадкой. Известно совершенно достоверно: дед никогда рыбалкой не увлекался. И все местные «мокрушники» были его друзьями.

С того самого дня в комнате деда поселились Варвара и ее мать.

Граф познакомился с Варварой год назад. В то время ее мужа, технолога мясокомбината, посадили за групповое хищение. И Варвара вернулась к занятию, освоенному еще в годы ранней юности. Она стала наводчицей. И теперь сама искала связи с жульем.

Работая маникюршей, она легко знакомилась с клиентами. И наиболее интересным из них вполголоса расска-

зывала, что у нее старушка-мать на руках и что после работы она обслуживает часть клиентов на дому. В ее распоряжении всегда имелось десятка три адресов с планами квартир и примерной стоимостью «улова»...

— Торопиться не надо, — повторил Граф, возвращаясь к дивану. — Пусть Варя планчик сработает. Мы должны быть особенно осторожными...

9

Вечером Каирову, когда он после ужина читал газету, позвонила Нелли. По взволнованному голосу своей секретарши он догадался, произошло что-то серьезное. Она просила о встрече. О немедленной встрече.

Каиров просил прийти к нему домой.

Жена, убиравшая со стола, сказала:

— Мирзо, ты посмотри, что творится за окном. Дождь, тьма. И ни одного фонаря на нашей улице. Ты бы встретил Нелли. Девушке неловко одной...

Жена Каирова — полная, красивая армянка, с седеющими волосами, зачесанными в тугий узел, — принесла плащ.

— Нелли — смелый человек, — сказал Каиров, которому не хотелось выходить из теплой комнаты, такой уютной и светлой.

— Мирзо старый человек, — насмешливо заметила жена.

Каиров вздохнул, поднял вверх руки, потом развел их в стороны, будто вспоминая гимнастическое упражнение. Он теперь ежедневно занимался гимнастикой. Доктор Челни как-то выслушал его тщательно и вынес приговор:

— Ежедневная гимнастика или ожирение сердца.

Надев плащ, Каиров долго возился с капюшоном. Капюшон сползал на глаза, и его пришлось зашпиливать булавкой.

Переложив в карман плаща пистолет и зажав в руке английский фонарик — трубку коричневого цвета, — Каиров вышел на крыльцо. Свет от окна падал на ступеньки и на часть дорожки, выложенной плоским камнем.

Батарейки были редкостью, и Каиров решил пройти до калитки, не включая фонарика.

Дождь лил не ливневый, а мелкий, обыкновенный осенний дождь, который не кончался неделями. И ветер метался. И шумело море...

Вдруг Каиров различил человеческую фигуру, копошащуюся у забора. Правая рука машинально скользнула в карман за пистолетом.

— Мирзо Иванович, батенька, — услышал он голос доктора Челпи. — Я потерял галошу...

— О, боже! — удивился Каиров. — Ему не спится и в дождь...

— Я составил оригинальную задачу. Белые начинают и делают мат в четыре хода... — сказал доктор Челпи.

Вероятно, доктор споткнулся, потому что галоша соскочила на плите, где и грязи-то не было. Да и соскочила недавно... Когда Каиров включил фонарик, лиловая подкладка галоши еще была сухой.

— Хорошо, — сказал Каиров. — Пройдите в дом... Аршалуз обсушит вас и напоит чаем. А я через четверть часа вернусь...

— Спасибо, Мирзо Иванович. Я ведь тоже лишь на минутку.

Улица, виляя, спускалась к шоссе, с которого открывался вид на порт. Порт лежал внизу под горой. И пристани, обозначенные желтыми точками огней, и зеленые и красные огоньки над выходом в море, и корабли, стоящие у причалов, со светлыми прорезями палуб — все это было знакомо Каирову, как собственная квартира. Сейчас справа покажется маяк — домик, похожий на пчелиный улей. Он стоит на белой треноге, высотой с большой тополь. И светит нежно, фиолетово. Выше, на горе, есть еще один точно такой же маяк. Маяки — поводьры капитанов кораблей, приходящих в порт ночью. Огни обоих маяков должны совместиться. Это будет означать, что курс правильный.

Выйдя на шоссе, Каиров огляделся. Из города, разгоня тьму метлами света, полз автобус. Когда автобус поравнялся, Каиров увидел Нелли. Она стояла у выхода, прижимая к груди черную сумочку.

— Мирзо Иванович, у меня в квартире что-то искали, — сразу же сказала она.

— Обыск? Кто давал разрешение?

— Это не обыск. И не кража. Это совсем другое... Перерыты все вещи Геннадия...

Каиров вспомнил, что за несколько дней до своей гибели Мироненко переселился к Нелли.

— Что же они могли искать?

— Плакаты, — сказала Нелли. — К счастью, я собралась перепечатать записи и взяла сегодня плакаты на работу...

— Ты их читала?

— Да.

— Что-нибудь серьезное?

— У Геннадия были подозрения, но он не доверял их бумаге...

— Плакаты с собой?

— Да.

Она открыла сумочку и вынула из нее бумажный сверток.

Каиров спрятал его под плащ.

— Я боюсь возвращаться домой.

— Придется, Нелли. Я сейчас позвоню оперативному дежурному, чтобы прислали сотрудников с собакой. Может, собака возьмет след. Или нам удастся заполучить отпечатки пальцев.

Когда Каиров пришел домой, доктор Челни пил чай и рассказывал Аршалуз какую-то веселую историю. Каиров отдал распоряжение по телефону. Челни спросил:

— Займемся задачкой, Мирзо Иванович?

— У меня задачка посложнее, — буркнул Каиров и заперся в кабинете.

Доктор Челни поболтал с Аршалуз еще четверть часа и вежливо откланялся.

Каиров стал смотреть записи. Записи не в тетради, не в блокноте, а на оборотной стороне плакатов. На плакатах была нарисована физкультурница, метаящая диск. Рослая, красивая девушка. Она улыбалась. Где-то на втором плане целился из ружья стрелок, стартовали бегуны, мчались мотоциклисты. Ниже белели стихи:

Работать, строить
и не пыты!
Нам к новой жизни
путь указан.
Атлетом можешь
ты не быть,
Но физкультурником —
обязан,

ПЛАКАТ ПЕРВЫЙ

Лука лежала поперек моря. Длинная, серебристая. Она рассекала его надвое — от берега до горизонта. Волны мягко накатывались и отступали, словно тая, незаметно, с тихим, kloкочущим шепотом.

Колченогий шезлонг, беспризорный, забытый отдыхающими, приткнулся к зонту. Круглый, будто дыня, камень заменял ему обломанную ножку. Я присел, твердо решив разуться. Сапоги у меня брезентовые, узкие. Стащить их не так просто. Клок парусины свисал над реей. Я поднял глаза вверх и увидел дырку, залатанную небом и звездами. Перевернутый баркас, темневший метрах в пятинадцати, заслонял огни города. И море казалось мне большим. Я видел все это впервые. И длинную пристань, и маяки, словно цветы, у входа в порт...

Со стороны города слышались шарканье шагов и громкие мужские голоса. Двое остановились по ту сторону баркаса.

Черный буксир, входя в порт, обрадовался таким пропитательным гудком, что я невольно вздрогнул. Буксир — маленький и низкий, но габариты баржи, которую он тащил, внушали уважение. Словно муравей, он старательно волочил свою ношу. Слабый, мутноватый прожектор щупал воду. Белесая в ночи дымка изгибалась над трубой, будто парус. Буксир развернулся и пошел к пристани...

Мне почему-то стало радостно. Просто, по-человечески, и все... Хорошо, что я приехал в этот город, где пахнет рыбой и нефтью, где растут магнолии, и крошечные буксиры таскают баржи-великаны. И может, совсем зря мне не понравился Волгин, дежурный по отделению, небритый и заспанный, который с лабораторной тщательностью исследовал мои документы и в завершение предложил на ночь диван в комнате угрозыска. Облезлый, с двумя горбами, почище верблюжьих, в котором, наверное, столько клопов, что и до утра не сосчитать.

За баркасом кто-то застонал, почти-вскрикнул. Секунду спустя что-то с глухим стуком подмяло гальку... Нет ничего хуже, чем быть застигнутым врасплох. Истина древняя, как сама жизнь. И тем не менее каждый открывает ее заново. Меня словно подбросило. Однако бежать в лиш-

наполовину снятом сапоге оказалось не очень ловко. Я запрыгал, потом, ругаясь, опустился на камни, стащил сапог обеими руками.

Человек лежал лицом вниз. Я осветил его фонариком. Крови почти не было. Только на затылке короткие, как щетка, волосы казались смоченными чем-то темным.

У пристани дрожали огни. Там должны быть люди. Я поспешил... Близ причала какой-то человек шпаклевал лодку.

— Слушай, товарищ, — сказал я, — нужно позвонить в милицию. Случилось убийство...

Человек выпрямился, подозрительно сдвинул брови. Я включил фонарик. Человек вздрогнул и замахнулся на меня веслом.

— Полегче, — успел сказать я и вцепился в весло. — Брось дурить... Где ближайший телефон?

Опустив руки, он недоверчиво спросил:

— Выправду говоришь... убийство?

Он был немолод. Лет шестьдесят. Лицо морщинистое. Под лохматыми ресницами зоркие, как у птицы, глаза.

— Милиционер... Сейчас будет милиционер...

Он поднял с камней кепку и, сутулясь, пошел к пристани...

Вернулся с милиционером. Худым и длинным, как каланча. Осмотрев труп, милиционер сказал мне:

— Вы задержаны.

— Мне нужно обуться, — сказал я. — Мои сапоги там...

— Ничего не знаю, — сказал милиционер, расстегивая кобуру. — Вам лучше постоять... Следствие разберется.

Постоять так постоять. Только вот камни влажные, словно вспотели от страха. Это ложится роса. И чайки кричат громко и тревожно, будто не могут отыскать свои гнезда.

Подкатил новый, блестящий черным лаком ГАЗ-А. Два оперативных работника и врач, все в штатском, спустились к баркасу.

Вспышка магний — желтая клякса — легла на кусок берега. Щелкнул затвор фотоаппарата. Труп перевернули. Из кармана выпал бумажник. Оперативники не торопясь разглядывали его содержимое.

Я сказал милиционеру, что пойду обуюсь. Он кивнул, но тут же, спохватившись, шепнул:

— Кузьмич, иди с ним...

Кузьмич, тот самый лодочник, что едва не огрел меня веслом, с явной неохотой поплелся за мной.

— Сам-то не из ближних краев? — спросил он.

— С дальних.

— Брюхо рыбу чувствует. Публики нынешнее лето понаехало. Только и рыба не дура. Такого паршивого клева пятнадцать лет не было.

Никогда сапоги не казались мне такими легкими и удобными. Кузьмич не отставал, будто тень.

У баркаса никто не обратил на меня внимания. Невысокий оперативник, видимо возглавлявший группу, спросил:

— Как вы полагаете, доктор, сколько времени назад произошло убийство?

— В двадцать часов семнадцать минут, — ответил я. Все с удивлением посмотрели в мою сторону.

— Документы, — потребовал невысокий оперативник.

Я расстегнул нагрудный карман гимнастерки, в котором лежало заверенное подписями и печатью мое назначение на должность начальника уголовного розыска.

...В бумажнике убитого оказались паспорт на имя Бабляка Федора Остаповича, справка о прививке оспы, тридцать рублей и железнодорожный билет на проезд со станции Курганная. Билет двухнедельной давности.

Мокрая фотография Бабляка прилипла к газете, и потеки, словно плесень, расплзались по ее краям. Репродукция была сделана с паспортного фото. Широкий, хрящеватый нос, казалось, занимал большую часть, сходящего на клин, лица. Темные черточки глаз, открытый, средних размеров лоб, волосы короткие, зачесанные наверх. Лицо как лицо... Словом, это была одна из тех неудачных фотографий, по которым мало что можно узнать о человеке.

Ночь кончалась. Я выключил свет, и окно отпрыгнуло назад. В кабинете душно. Распахиваю раму и сажусь на подоконник. Отсюда, со второго этажа, видна часть улицы, подпирающей круглую, как блюдо, площадь. Верещат птицы. В воздухе настоящий запах осени. Где-то вдалеке скрипит телега. Вскоре она выползает из-за дома и катит к площади. На телеге бидоны с молоком. Рядом шагает возница. Я узнал его по кепке-шестиклинке. Видно, почувствовав на себе взгляд, он поднял голову. Опознал меня. И дружески приветствовал взмахом руки. Это был Кузьмич. Тот самый, с пристани...

Кто-то вошел. В кабинете было темнее, чем на улице, и я не мог различить, кто вошел. Щелкнул выключатель. У стены стоял мужчина с непроницаемым, как икона, лицом. Он положил на тумбочку рулон, который развернулся. Девушка в спортивном трико смотрела на меня с плаката. Она улыбалась и замахивалась диском.

Мужчина сказал:

— Каиров.

Вот он какой — начальник городского отделения милиции. Я представился. Бросив взгляд на стол, где высохло фото Бабляка, Каиров спросил:

— В чем дело? Убийство?

— Да... Девять часов назад... Его фамилия Бабляк, — сказал я. — Это ничего не говорит вам?

— Первый раз слышу, — быстро ответил Каиров.

Он вызвал дежурного и назначил служебное совещание на восемь тридцать...

Я, кажется, уснул. Разбудила секретарь-машинистка. Я видел ее еще вчера. Она тронула меня за плечо:

— Скорее в кабинет Каирова.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Нелли...

Ей лет двадцать. У нее каштановые, совершенно прямые волосы и загорелое скуластое лицо. Походка угловатая, мальчишеская.

— Я хочу коротко проинформировать вас, — начал Каиров, — о совещании, которое проводил начальник ОГПУ Северо-Кавказского края...

Обстановка на Кубани напряженная. Борьба с кулаками вызвала известные временные осложнения. На реке Малой Лабе, в окрестностях заповедника орудует банда одного из царских полковников. Фамилия его точно неизвестна. Скрывается он под кличкой Козяк. Людей в банде немного. Триста — четыреста. Но они отлично вооружены. Кто-то регулярно снабжает их боеприпасами. Есть сведения, что боеприпасы поступают через наш порт.

ПЛАКАТ ВТОРОЙ

Октябрь выдался теплым. И листья на деревьях еще держались; они были серые от пыли и немного желтые от старости, но ветры, дующие с моря от берегов Турции, еще не могли сбить их. Листья держались до ноября, до

тех пор, пока порд-ост, развернувшись в Новороссийске, не устремился к югу и желтая его дорога не протянулась до самого Батуми.

Я снял комнату у полной особы, которая уверяла, что двадцать лет назад у нее была осиная, самая тонкая талия на всем побережье Северного Кавказа. Когда я пришел к ней, хозяйка спешила на концерт. Она была пианисткой.

— У вас современный вид, — сказала она. — Вы не спали и не брились по меньшей мере трое суток. Я не вижу причин, чтобы не уступить вам комнату. Судя по всему, вы ответственный работник.

— Я из угрозыска.

— В наше время такой квартирант — просто находка. Я возьму с вас вдвое дешевле.

Комната мне понравилась. Дом стоял на горе. Из окон, выходивших в маленький розарий, было видно море, порт, пристань... Но акация, что росла за соседним домом, густой кроной, точно пологом, закрывала то место на берегу, где в теплую сентябрьскую ночь произошло неразгаданное убийство. Я чувствовал, что другой, более опытный человек разобрался бы в этом деле. Вероятно, тогда на парткоме следовало проявить большую принципиальность и отказаться от неожиданного назначения.

Тяжеловато... И Каиров — человек трудный, настойчивый. Я признаю за ним силу воли. Но во многом не понимаю его...

Однажды Нелли, я и Каиров шли обедать. Был полдень. И солнце грело вполне. Цыганка в пестрых юбках сидела у входа в отделение. Это было не очень умно со стороны цыганки — усесться в таком месте, да еще, схватив Каирова за полу пиджака, нараспев сказать:

— Позолоти ручку, черноглазый. Как звать, скажу. Счастье угадаю...

Она, конечно, не знала, кто такой Каиров. И нахальничала, как с самым рядовым прохожим.

— Филиппов!

Милиционер появился на пороге.

— Проверь документы, — бросил Каиров, указывая на цыганку.

— Откуда они у нее? От сырости? — лениво сказал Филиппов.

Каиров предупредил:

— Не выпускать до моего прихода.

Потом цыганку выпустили. И может, не стоило бы это вспоминать... Но в общении Каирова с людьми есть что-то панское. Я не понимаю, откуда это взялось у старого партийца. Возможно, виноват возраст. Возможно, просто старый человек думает, что он самый умный, что он никогда не ошибается. Конечно, люди в пожилом возрасте бывают мудрые. Но и молодой, и средний возраст не состоит из одних дураков...

Нелли разделяет мою точку зрения...

Я нарочно избегал писать о Нелли. Но видно, наступила пора сказать о ней сразу...

Это очень сложно рассказывать. Кто думает, что писать о любви проще пареной репы, тот либо никогда не любил, либо это было у него лет пятьдесят назад. Срок простительный, внушающий понимание.

Дело в том, что в феврале девятнадцатого года я женился на военфельдшере Тамаре Исаковой. Мне было девятнадцать лет, моей жене и того меньше. Свадьба случилась на фронте. Мы пили горилку из темных эмалированных кружек, закусывали квашеной капустой...

Я не верю в то, что есть песни, которые задумывались без души, без веры в их нужность, в их будущность. Но почему же тогда бывают плохие песни?

Кажется, именно взаимное непонимание, возникшее между мной и Тамарой в последние годы, побудило меня уехать из Ростова.

Обстоятельства сближают людей. Это не пово. Но верно. И многое кажется значимей и желанней, чем оно могло бы казаться в другое время.

Нелли я увидел в первый день, когда сидел у Волгина. Волгин вертел мои документы, а в соседней комнате стучала пишущая машинка. Потом машинка перестала стучать, а из комнаты вышла девушка. Она быстро взглянула на меня и сказала: «Здравствуйте». Я сказал: «Добрый вечер». Но девушка уже положила ключи на стол и ушла. И в дежурке опять стало перадостно и дымно...

Кабинеты наши были напротив, и я встречал Нелли в коридоре. Я улыбался, ее же лицо не выражало никаких эмоций. Она всегда к кому-то торопилась с зеленой папкой в руках, а когда работала за машинкой, надевала очки. Раз или два в день она заходила в мой кабинет с поручениями от Каирова. И скоро я понял, что мне при-

ятно видеть ее упрямые глаза и короткие, словно у мальчишки, волосы.

В воскресенье меня разбудили на рассвете. Посыльный сказал, что ограблен торгсин. Мы долго возились с этим делом. Только к трем часам дня я закончил диктовать Нелли протокол допроса сторожа, которого мы нашли в кладовой целым и невредимым, завернутым в ковер.

Из отделения вышли вдвоем. Поднялись к площади, где под мимозой дремал милиционер в белых перчатках.

Купили каштанов. Старый грек, насыпая каштаны в банку, бормотал:

— Каштаны печеные, каштаны вареные... Лучше пирожного, лучше мороженого... Разобрали не берут!

В единственном в городе кинотеатре шел новый звуковой фильм «Путевка в жизнь». Зрители брали кассы приступом.

Нелли сказала:

— Пойдем в кино.

— Пойдем, — согласился я.

Администратор, посмотрев мое удостоверение, заверила, что обеспечит на последний сеанс двумя приставными стульями.

Чтобы как-то скоротать время, мы пошли к старику Надару, с которым меня недавно познакомил Каиров.

Сидели в беседке за не покрытым клеенкой столом. Светило солнце, и белые облака бежали на запад. Нелли положила локти на стол, ладонями уперлась в подбородок. Надар принес обмотанную тряпками бутыль и грациозные стаканы.

— Прошлогоднее, — сказал он. — Взгляните, какое ясное...

Нелли усмехнулась. Вино было светло-розовое, ароматное. Старик Надар добавлял в него инжир, хотя ни за что на свете не хотел в этом сознаться.

Ветер дул из щели. Он был зябким. И желтые виноградные листья падали на стол. И он выглядел почти праздничным. Я поднял бутыль и налил вино в стаканы.

— Выпей с нами, — сказал я Надару.

Надар покачал головой. Он покосился на старый, увитый глицинией дом, вздохнул и негромко пожаловался:

— Скандальная у меня баба. Не женись, кацо!

— У тебя нет такта, Надар, — лукаво сказала Нелли. — А вдруг я хочу женить его на себе.

— Вай! Вай! — смутился Надар. — Сохраню на свадьбу бочку вина. Первый сорт! Изабелла...

— Не храни, Надар... Оно скиснет. К сожалению, личные дела наших сотрудников проходят через мои руки.

— Удобная штука — личное дело, — усмехнулся я. — Человек как на ладони.

— Скука... Неразгаданное лучше. — У нее был твердый, почти жестокий взгляд и строгие, сдвинутые брови, на которые спадала челка прямых волос.

...Мы не торопились, но пришли в кино еще задолго до начала сеанса. Когда поднялись в фойе, Нелли сказала:

— У меня есть бонус. Пожужем чего-нибудь...

В торгсиновском буфете лежали узкие баночки шпрот, пирожные, бутерброды из настоящего белого хлеба и зернистой икры, черной и блестящей, точно бусинки. И еще лежали там многие другие приятные вещи, среди них — папирсы «Пупика».

— И «Пушку» возьмем, — сказала Нелли. — Я ведь тоже изредка покурываю...

— Не нужно тратить, — остановил я. И, смеясь, добавил: — Насытимся духовной пищей...

В фойе была фотовыставка. На ней экспонировались работы местных любителей. Выставка называлась «НАШ ГОРОД».

Несколько морских снимков с густыми низкими облаками были талантливы. Остальные — дрова...

Уже прозвенел звонок, и народ хлынул в зрительный зал. Нелли потянула меня за руку, как вдруг на стенде, что стоял возле самого окна, я увидел фотографию... Фотографию, в которую не мог поверить. Уголок сквера, на заднем плане — пристань. А у фонтана, сделанного в виде маяка, на скамейке сидят двое мужчин. Сидят и курят. Их лица так ясно и четко выделяются на фоне зелени, словно фотограф именно на них наводил резкость. По жестам и мимике было очевидно, что это не просто два случайных человека. Нет, они курили и беседовали. Нелли перехватила мой взгляд.

— Я видела этого человека... Гена, это же тот, которого убили в день твоего приезда,

— Бабляк... Но кто второй?

Я покачал головой. Потом присел и стал разглядывать снимок через лупу...

Третий звонок дрожал над обезлюдевшим фойе. Заглянула билетерша. Она торопила нас.

— Пойдем, — шепнула Нелли. — Не привлекай внимания.

Мы пошли в зал. Но мне было не до кино. Я твердил фамилию фотографа — Саркисян...

ПЛАКАТ ТРЕТИЙ

Этот стук извел меня. Он был громким и повторялся через короткие промежутки времени.

«Тяк!.. Тяк!.. Тяк!..»

Я высунул голову из-под одеяла. Посреди комнаты стоял эмалированный таз. С потолка капала вода. Таз, вероятно, принесла хозяйка, потому что за окном лил дождь и было сумрачно. А крыша была совсем как решето. Хозяйка однажды сказала:

— Достали бы мне жести. Вы все можете...

— Не обещаю.

— Вы все можете, — сказала хозяйка. — Если захотите.

— Это другое дело.

Она деланно вздохнула и покачала головой. Что ни говори — дама с манерами. Вот и сейчас я слышу ее шаги на пороге. Она не стучится в дверь, а громко, параспев говорит:

— Вы еще спите?

— Нет. Плаваю...

— У меня к вам дело, — говорит хозяйка.

Минуту спустя — она уже в комнате. Громоздкая, словно шкаф.

— Вы будете иметь возможность беседовать с человеком необыкновенным. — Голос ее звучит, как в бочке.

— Роза Карловна, кто вы по национальности? — спрашиваю я.

— Спросите что-нибудь полегче. Мать моя была гречанка. Отец прибалтийский немец... По паспорту я — русская... У вас что, профессиональная манера перебивать говорящего? За месяц я так и не смогла сказать вам то, что хотела. Но на этот раз вы меня выслушаете... Наш сосед — учитель ботаники. Настоящий русский ин-

тelligent. Он всего боится. И только к органам власти питает доверие. К тому же он убежден, что у такой хозяйки, как я, не может быть плохого квартиранта. У него неприятности. Поговорите с ним. Это займет немного времени. А я приготовлю вам воду для бритья...

Над жухлым, худым лицом блестело пенсне. Учитель ботаники протянул мне руку и виновато сказал:

— Чайников.

Путаясь и заикаясь, он рассказал, что этой ночью к нему залезли воры. Очистили шкаф с шерстяными вещами. А дело идет к зиме...

Расследованием кражи в доме Чайникова занялся Волгин. Он обнаружил на пипингалете отпечатки пальцев. Вскоре выяснилось, что отпечатки принадлежат местному жулику по кличке Граф Бокалов. Графа взяли в три часа дня в торгсине, когда он сдавал золотое обручальное кольцо.

Девятнадцатилетний парень, бледный, с глазами наркомана, дурковато произнес:

— Граждане начальники, меня и самого совесть мучит. К старому учителю залез. К человеку, который мне про порядочную жизнь рассказывал...

— Где вещи? — спросил Волгин.

— Какие вещи? — удивился Граф. — Что-то вы тень на плетень наводите. Лучше спросите, из каких побуждений я кодекс уголовный нарушил. Что меня в чужое окно толкнуло. Я отвечу вам, граждане начальники... Жажда знаний! Вы и не ведаете, какая у старика ботаника библиотека! При царском режиме собирал!

Болтая в таком духе, Граф Бокалов в течение трех часов утверждал, что забрался к учителю Чайникову с целью выкрасть книгу Лидии Чарской «Паж цесаревны».

Книгу обнаружили при обыске. Исчезновение ее Чайников просто не заметил. И еще в комнате Графа нашли нераспечатанную коробку в английской упаковке.

Потом Графом внезапно заинтересовался сам начальник отделения. Какие планы у Капрова на этот счет — профессиональная тайна. А может, он просто хочет помочь Бокалову порвать с преступным прошлым. Стать на правильный путь...

Я забыл написать о фотографии. Тогда, после сеанса, мы вернулись в фойе. И я снял фотографию, предъявив изумленному директору удостоверение угрозыска. Вооб-

ще я заметил, что люди либо удивляются, либо пугаются, столкнувшись с нашим братом. Почему так? Ведь большинство из них — хорошие люди...

Сразу пошел в отделение. Показал фотографию Волгину. Он часа два рылся в картотеке. Пришел и говорит:

— Привет от Хмурого. Выходит, что старый валютчик опять объявился в наших краях.

Фотографию увидел Каиров. Он поразил меня своим ответом:

— Хмурый. Поговорите с Саркисяном.

Саркисян — фотограф с базара — точно указал дату съемки:

— Двадцать третье сентября.

— Искать Хмурого. Возможно, он еще в городе, — приказал Каиров.

Вечером Хмурый был опознан сотрудниками уголовного розыска в тот самый момент, когда спокойно прохаживался возле афиши кинофильма «Парижский сапожник».

Я обещал Нелли взять билеты на этот фильм. Но видимо, с временем я по-прежнему не в ладах.

У Нелли упрямый характер и теплый голос. Я преображаюсь, когда слышу его. Нет нужды делать тайну из того, что мы не можем жить друг без друга... Я и Нелли идем по набережной. Темной и грязной, застроенной пакаузами, складами, мастерскими. Сегодня вечер с грустинкой, как весною. И звезды. И даже луна... Пахнет морем и нефтью. От запахов кружится голова.

У нас серьезный разговор, про высокие материи. Иногда нужно говорить и об этом. Нелли не философ. И я тоже. Говорим, что чувствуем.

— Мы какие-то особенные, — говорит Нелли. — И жизнь у нас особенная... А мне хочется простоты. Вот ты любишь меня, а не знаешь... что я обожаю танцы и мороженое. У меня есть бонны. Купим мороженое?

— Время особенное, — повторяю я. — Не надо себя переоценивать. Мы только люди. И выполняем свой долг... Это главное! А потомки разберутся, что мы сделали. Как знать, может, эти улицы именами нашими называть станут...

Мороженое в круглых вафлях. На вафлях имена. Таня, Маня, Ваня... У Нелли на вафле написано «Гена».

— Твое имя, — говорит опа. — Если у нас родится сын, я дам ему это имя в честь тебя...

...Мы возвращаемся домой очень поздно. Зажигаем свет. Уже три дня, как я перебрался в ее комнату. Так правильнее. И честнее... Она спит. Или делает вид, что спит...

Хмурый опять вертелся у афиши кино «Парижский сапожник». Кого он ожидал? И почему тот, неизвестный, не пришел на свидание?

— К афише не подходите...

Этот случайно услышанный телефонный разговор...

Нет. Об этом еще рано писать. Надо проверить. Надо тщательно проверить. Семь раз отмерь, один отрежь... Неужели враг действительно так близко? Я вижу его десятки раз в день. Здороваюсь с ним за руку... А может, это мания подозрительности, вызванная усталостью...

На этом записки обрывались.

В полночь Каирову позвонил дежурный по городскому отделению милиции. Он сообщил, что при тщательном осмотре квартиры на стекле книжного шкафа были обнаружены отпечатки пальцев, не принадлежащие хозяйке дома. Составленную дактилоскопическую формулу по методу Гальтона и Рошера отправили в краевое отделение милиции.

10

Костя Волгин стал Аполлоном Пращуровым не случайно. И раньше ему приходилось менять имя и фамилию. Появляться в занятом денкиндами Екатеринодаре с паспортом турецкого коммерсанта Генриха Боркмана, разгуливать в белогвардейском Симферополе в погонах кавалерийского капитана, забулдыги и циника. Разыгрывать из себя слепого, немного, припадочного...

Но пожалуй, самой трудной была роль кафешантанного певца в Одессе в 1918 году. Может, потому, что это была первая роль. И трудности набегали, как волны на неумелого пловца. Он пел в кафе, у Фанкопи. И публика там была пестрая. И весь город был пестрый, оккупированный французами. Негры, зуавы, спекулянты самых различных пошибов, великосветские дамы — бывшие фрейлины, и просто легкомысленные девицы дворянского происхождения. И конечно же господа офицеры — всех возрастов и званий.

В моде была серо-розовая камбала, круглая, как сковорода, и крышон из белого вина с земляникой.

Волгину удалось завязать знакомство с майором из окружения генерала Шиллинга. Сведения, выуженные у майора, пригодились подпольной организации большевиков...

Года, года...

Только память сейчас походила на кладовую, где далеко не все разложено по своим местам. Многие затерялось. Позабылось... Но не эта встреча. Там, у Фанкони. После концерта к нему подошел светловолосый худощавый человек с удлинённым лицом. Пожал руку. И представился:

— Вертинский.

Каждый одессит знал, что Александр Вертинский гастролирует в доме артистов. Там еще было кабаре. Настоящее европейское кабаре. С Изой Крамер и Плевицкой...

Жизнь родителей Кости и его близких родственников так или иначе была связана с театром: бабушка — известная костюмерша, мама — драматическая актриса. Папа (он умер молодым) писал веселые куплеты и лично исполнял их под фортепьяно. Были среди родственников декораторы, режиссеры, музыканты, суфлеры и один гардеробщик — дядя Кеша, о котором в доме говорили с тихой печалью, будто о скончавшемся младенце. Дядя Кеша не перешел Рубикон. Мало того, подавая театрам шубы, он не брезговал чаевыми. Глаза у него всегда были красными. И кончик носа тоже... Полагают, что не из-за алкоголя, а по природной стыдливости.

Мама и бабушка уверовали, что Костя будет артистом. У мальчика обнаружилась отличная мимика, правильная речь. И притвора он был порядочный. Но бабушка проказы внука определяла как способность к перевоплощению.

Костя родился 2 января 1900 года. Появись на свет лет на пять позже, он, естественно, не стал бы в 1918 году разведчиком Красной Армии. Из него, скорее всего, получился бы интересный актер. Быть может, даже знаменитый... Однако в 1918 году молодой Советской стране прежде всего нужны были не актеры, а воины.

В мае 1928 года Костя Волгин уволился из армии. Москва. Театральное училище. Седой профессор — старый друг семьи. И Костя. Одежда согласно времени: диагональная гимнастерка, хромовые сапоги. На груди два ордена Красного Знамени. Даже шашку еще не снял. Настоящую шашку, взятую у убитого офицера, в чеканенной серебряной оправе, с георгиевским темляком.

— Поздно, друг мой, — проникновенно говорит профессор. — В двадцать восемь лет поздно учиться актерскому мастерству. Может быть, режиссура. Попробуйте свои силы в режиссуре. На следующий год мы предполагаем набрать целый режиссерский курс.

Люди, которые не однажды рисковали жизнью, сами не знают, сколько им лет. Каждый раз, когда смерть уже позади, они чувствуют себя заново рожденными. Будто впервые видят небо, траву, улыбки... И зачем только сидят виски?..

В старом, пропыленном диване Костя нашел разорванную книгу без начала и без конца. Он так и не узнал название этой книги и ее автора. Одна часть, вероятно вторая, называлась «Под Южным Крестом», последняя — «Магараджа острова Борнео». В книге лихо описывались похождения двух французских авантюристов, схватки с пиратами... И хотя книга была наивной, а приключения надуманными, все равно с пожелтевших страниц дули ветры южных морей. Белыми гривами вздымались брызги над безымянными коралловыми рифами. Грустили высокие пальмы. Кричали непоседливые попугаи...

И Косте вдруг захотелось стать моряком дальнего плавания. Пусть вначале матросом, потом штурманом. А под занавес — и капитаном... Он представлял себя шагающим по набережной Сиднея или Порт-Саида. С сигарой в зубах... Маленькие таверны с диковинными названиями: «Три носорога», «Штопанный парус»... Улыбки смуглых жещин в пестрых узких платьях, подчеркивающих стройность фигуры. Мальчишки, торгующие финиками. И ром... Душистый ямайский ром, так полюбившийся мальчишкам Флинта...

Костя подался к Черному морю. Секретарь горкома партии, подвижной для своего возраста мужчина, терпеливо выслушал посетителя. И с не меньшим терпением, осилив с десяток папирос, убедил Костю Волгина, что, принимая во внимание его, Волгина, героическое прош-

лое, в штате городской милиции он гораздо нужнее, чем на набережной Сиднея или Сингапура...

За пять лет Волгину приходилось сталкиваться с разными феноменами преступного мира. Среди них были и дегенераты, и артисты — эрудиты...

Аполлон Пращуров... Обрадовался ли Костя? Мало сказать, да. Он уже и думать не думал, что когда-нибудь вновь ему придется заучивать роль. Вживаться в образ человека, знакомого ему лишь по легенде. О проведении операции «Парижский сапожник» были проинформированы немногие опытные и надежные люди. Но о том, что главную роль в ней будет исполнять Костя Волгин, во всем городе знал только один Каиров.

Через день после отбытия Кости в полутемном коридоре городского отделения милиции был вывешен приказ: «Оперуполномоченного К. Волгина считать в командировке в г. Ростове-на-Дону. На курсах повышения квалификации».

11

Трудно представить доподлинно, как произошла их встреча, потому что ни Волгина, ни Козякова сейчас нет в живых. Волгин не успел подробно ознакомить Кравца с ходом операции, когда был у него однажды суматошной ночью.

Можно лишь предположить, что Волгин убедительно рассказал легенду, подготовленную для него Каириным, и полковник Козяков поверил в это. Хотя нет никаких сведений, что характера полковник был доверчивого. Но когда-то Козяков сочувствовал горю молодой вдовы полковника Пращурова, своего друга, погибшего в первой мировой войне. У Пращурова был сын Аполлон. И вероятно, не только Козяков, но и всякий другой человек с трудом мог бы признать в тридцатитрехлетнем мужчине ребёнка, которого не видел более двадцати лет.

Пращуровы занимали второй этаж особняка, выходившего лиловым фасадом на набережную Фонтаки. Анфилады комнат, где всё — и тяжелые портьеры, и тончайшие тюлевые занавески, и модная венская мебель — исходило запах нежных духов, которые так любила мать Аполлона, белокурая немка Берта. Она была тогда молодой женщиной, умеющей томно смотреть и загадочно

улыбаться. И глаза у нее были серые, а шея длинная, но красивая. И вообще, при своем высоком росте Берга отличалась на редкость правильными формами.

Козяков увлекался Бертой. И, как свидетельствовал Аполлон (подлинный, взятый в плен после разгрома Врангеля), мать легко изменяла отцу. И кажется, не только с Козяковым.

Может, сказанное выше в какой-то степени объясняет доверчивость Козякова. Дань молодости. Времени, о котором редко кто вспоминает без грусти...

Возможен такой диалог:

— Если это вы... В чем я не сомневаюсь... То вы очень и очень постарели, — говорит Волгин. — Последний раз... Вы были у нас на обеде. И все жалели, что папа накануне уехал в Киев. Вы принесли большую плюшевую обезьяну. Мать всегда любила игрушки. И очень жалела, что я не девочка.

— Ты похож на свою мать, — говорит Козяков. — Те же глаза, те же волосы, И улыбка... Что с ней? Она жива?

— Нет. Мама умерла в Одессе от брюшного тифа.

— Давно?

— В восемнадцатом.

Ну а если Козяков оказался менее сентиментальным? И, схватив Волгина за грудки, крикнул:

— Врешь, сволочь!

В этом случае... Он не мог не заметить золотую цепочку... И медальон. Медальон, который он когда-то подарил Берте. И фотографию молодой Берты, Берты-девочки. И прядь волос...

— Вы любили ее? — должен был спросить Волгин у присмирившего Козякова.

И он, вероятно, ответил:

— Да.

Он мог ничего не ответить... И весь разговор мог сложиться совсем иначе, чем он представляется сейчас. Несомненно одно: Волгин выиграл первый поединок... И в банде почувствовали, что новенький пользуется доверием и покровительством атамана.

Люди, пославшие Волгина на это трудное задание, понимали, что, даже поверив в Аполлона Пращурова, Козяков должен был спросить:

— Хорошо, мальчик мой! Но зачем, для чего ты здесь? Неужели ты всерьез веришь в спасение отечества?

Волгин должен был рассказать следующее:

— За несколько часов до смерти мать призналась, что я не сын полковника Пращурова. Я немец. Настоящий немец. Мать назвала мне кодовый номер вклада, который ее отец оставил в швейцарском банке. Это большая сумма. Мне нужно в Европу. Там я обеспеченный человек... Памятью матери заклинаю вас, помогите мне осуществить мечту.

Тогда еще никто не знал, что Анастасия дочь полковника Козякова и что по этой причине у Козякова вообще могут быть особые виды на Аполлона и на его швейцарское наследство...

12

Сохранился протокол допроса Анастасии. Вот выдержки из него.

Вопрос: Что вы знали о своем отце?

Ответ: Ничего. Я встретила его шесть месяцев назад в Староконюшенном переулке. Подошел человек. И сказал: «Я твой отец». Я привыкла верить бабушке. А бабушка никогда не говорила, что отец жив и скрывается за границей. У бабушки такие честные, искренние глаза. У меня тоже честные, искренние глаза. И они остаются честными, искренними даже тогда, когда я вру. Но сейчас я говорю правду. Чистую правду. Потому что все так ужасно... Я по-разному представляла свою жизнь. Но никогда не думала, что стану вдовой в восемнадцать лет...

Вопрос: Почему вы поехали с отцом?

Ответ: Последние дни я думала об этом. Кажется, были три причины. Незнание жизни. Отсутствие того, что в газетах называют патриотизмом. И страх... Разве я испытывала что-нибудь, кроме страха, к этому усталому мужчине с седыми висками. И когда он остановил меня в Староконюшенном переулке, мне показалось, что он принял меня за проститутку. И я покраснела, и мне хотелось провалиться сквозь асфальт, ибо от стыда и смущения я не могла больше врать. Они закрыли мне рот с бесцеремонностью печной заслонки. И тогда я испугалась. Он сразу понял это. Он сказал: «Чем же крашенные ногти лучше натуральных?» — «Моднее», — ответила я. «Твоя мать, девочка, никогда не красила ногти. А вы похожи

словно две капли воды». — «Разве вы знали мою мать? Почему я не видела вас никогда раньше?» — «Я твой отец, Анастасия. Я вернулся, чтобы больше не расставаться с тобой».

И опять повторил, что я очень похожа на мать. Я и без него знала, что моя мать была похожа на бабушку, а я на мать. И фотографии, хранившиеся в старом бархатном альбоме, подтверждали наше сходство. Так что никакого открытия он не сделал. Но он умел говорить прописные истины, точно бог.

Он взял меня под руку. Без разрешения. Словно я была его собственностью или он двадцатилетним красавцем из киноинститута и собирался предложить мне роль в своем фильме или хотя бы для знакомства пригласить в «Метрополь».

Мы шли к Арбату. И старушки в подворотне судачили о распущенности молодежи, а я, как дура, смотрела себе под ноги. Потому что я читала в книгах: когда отцы возвращаются из странствий, дети бросаются им на шею. Плачут, целуются... Короче говоря, проявляют теплые чувства. У меня не было никакого желания целовать его в гладковыбритые щеки, тем более — в губы. Пестрый шарф выбивался из-под бежевого плаща. И этот шарф привлекал к себе внимание, точно родинка-мушка, посаженная над губой. А в его положении, как я позднее поняла, было глупо привлекать чье-либо внимание.

Вопрос: Он вас уговаривал?

Ответ: Он спросил: «Ты поедешь со мной?» — «Во Францию?» — «Да. У меня там дом в Плезансе. Это под Парижем. Розы, виноград... Бабушка говорила о твоей мечте стать актрисой. В Париже много русских эмигрантов, подвизающихся в кино, в театре».

Он шел, высоко подняв подбородок, расправив плечи. И ноги ставил, печатая шаг. Я не забыла, как бабушка однажды проболталась, что мой отец белый гвардейский офицер. И я спросила. Нарочно. Назло. Как он будет реагировать: «Ты большевик, папа?»

Он словно поперхнулся. И походка у него изменилась, точно его кирпичом ударили. «Я русский... Я потерял здесь все, что завещали предки. Но, слава богу, при мне остались моя голова, мои руки...» — «Как у пролетария?» — «Я не беден. Я приехал за тобой, Анастасия. Может, это и не вся правда. Но основная причина моего

возвращения — ты. Я хочу показать тебе мир... Он велик и необъятен. Рим, Неаполь, Париж... Ницца...»

Он стрелял названиями городов. И я балдела... Меня качало, как лодку. И я держалась за его руку уже не просто ради приличия.

«Нельзя представить возможности, какие жизнь открывает перед человеком. Представить — это значит посадить мысль в тюрьму, в клетку. А мысль должна быть свободной, как птица», — говорил он. И верил, что все это придумал сам. И это было его дело — верить или не верить. Но самое глупое заключалось в том, что и я верила в произносимые им слова. В набор слов, связанных банальностью, точно слюной. Может, в нем где-то спала теплота. Может, иногда она пробуждалась. И тогда он мог делать с людьми все, что ему угодно. А ему угодно было подчинить меня своей воле.

Вопрос: Свадьба... Расскажите о вашей свадьбе с Аполлоном Пращуровым.

Ответ: Я полюбила Аполлона, как только увидела... Но разумеется, ни о какой свадьбе не могло быть и речи... Отец ничего не спрашивал о чувствах. Приехал ночью, вошел в комнату, не спяв кубанки, сказал мне: «Тебе придется выйти замуж. Приготовься, венчание через полчаса».

От удивления я даже не спросила, кто же мой суженый. Я просто сидела на постели, поджав коленки к подбородку, и сонно смотрела на одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков. «Я объясню тебе позднее. Все позднее...»

А в соседней комнате уже позвякивала посуда. Накрывали стол. Три лампы освещали комнату. И еще красноватый огонек лампадки, висевшей под большой иконой святой Марии с младенцем Иисусом на руках.

Поп, от которого разило самогоном, наскоро совершил обряд. Мы обменялись кольцами. И поцеловались...

Вопрос: Сколько времени в ту ночь оставался Козяков в доме Воронина?

Ответ: Часа два. Перед отъездом он минут на десять выходил с Аполлоном во двор. О чем-то говорили...

Вопрос: Одни?

Ответ: Нет. С ними был Генрих Требухов. Он следил за отцом,

Вопрос: Означает ли это, что полковник Козяков не мог поговорить ни с кем с глазу на глаз?

Ответ: Нет, не означает. Но Требухов, как мне известно, всегда находился на расстоянии видимости, чтобы, в случае надобности, прийти на помощь. Полковник так и называл его: «Мой телохранитель».

13

Вероятно, деятельность и карьера Генриха Требухова заслуживают особого изучения. Мы ничего не знаем о его детстве и юношеских годах, если не считать рассказанную им самим историю о романе с землемеровой дочкой, отличавшейся высокой грудью и пизкой нравственностью... Поэтому перенесемся в 1923 год, когда Генрих работал делопроизводителем учетно-воинского стола при отделении милиции. Поскольку торговля заплесневелыми чернильницами и обкусанными ручками не сулила барыша, делопроизводитель начал продавать учетные карточки, без которых в ту пору трудно было устроиться на работу. Карточка приносила 10 000 рублей. Деньги, скажем прямо, не крупные, если учесть, что номер «Курортной газеты» стоил 20 рублей. Однако Генрих не тратился на прессу, предпочитая читать этикетки грузинских вин... Последнее занятие, как и первое, было прервано 114 статьей Уголовного кодекса. Пункт 4, дробь 1. Народный суд определил Генриху Требухову меру наказания в три года, с сокращением в силу амнистии наполовину, с поражением в правах, по отбытии наказания, на один год.

Время точит срок, как шашель мебель...

И вот Генрих опять в губсуде. Только уже не подсудимый, а секретарь-квалификатор камеры по делам о нарушении законов о труде.

Поднатаскавшись в новой должности, секретарь-квалификатор смекает, что большинство граждан-папманов совершенно не знают кодекса о труде. В один прекрасный день он приходит в трикотажный магазин гражданки Гофман и заявляет напуганной даме, что она привлекается к ответственности за наем служащих без биржи труда и что за это ей грозит строгое наказание.

— Я могу вам помочь, — сказал Генрих.

И черные усики над пухлой губой дамы дрогнули от умиления.

— Я могу вас совсем освободить от суда. Или квалифицировать преступление в более легкую сторону.

— Ближе к делу, — сказала гражданка Гофман, еще падеясь на свои чары, как сорвавшийся с пятого этажа надеется, что ему повезет и внизу он встретит не мостовую, а воз свежего сена.

— Полагаю, что содержание статьи 132 Уголовного кодекса вам знакомо... Освобождение от суда обойдется вам в пять миллиардов рублей, а более легкая квалификация по первой части статьи 132 будет стоить только три миллиарда...

— Я не держу дома и рубля, — доверительно сообщила гражданка Гофман. — Так приучил меня мой покойный муж... Придите завтра.

На следующий день, не застав хозяйку в условленный час, Генрих написал записку, в которой указал номер своего телефона, имя и отчество.

Гражданка Гофман позвонила ему вечером и, проявив практическую смекалку, попросила его принести «дело», дабы убедиться, что тут нет обмана.

Отправляясь с визитом, Генрих надел накрахмаленную сорочку, галстук «кисочку». Он нежно нес «дело», как молодая мать несет первенца.

Мило улыбаясь, гражданка Гофман приняла папку. И отсчитала задаток — один миллиард рублей... Генрих спрятал деньги в карманы. Из соседней комнаты вышли милиционеры...

Пять лет.

Прощай Хванчкара... «Отто Поднек» — пишущие машинки всех систем, арифмометры, ротаторы. Трамваи и кинематограф... «Мастяжарт» — вакса, гуталин, охотничья мазь. Оптом и в розницу...

«Тук-тук», — стучат колеса.

«Ду-ду», — кричит паровоз.

Дальше в биографии Генриха Требухова — айсберг, или, как принято говорить, белое пятно. Промежуток в два-три года после выхода из лагеря не оставил никаких следов в судебной хронике. И можно лишь заключить, что именно в это время и произошло превращение Требухова из рецидивиста-комбинатора в бандита.

Выяснилось, что Козяков обещал переправить Требухова за границу... Может быть, никакого превращения

не было. Жулик остался жуликом, только решил переменить климат.

14

Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует отметить один маленький эпизод, а если говорить строго, всего лишь случай, озадачивший Волгина в самый первый день пребывания в банде.

Малоподвижный мужчина, с плоским, небритым лицом, вручил Волгину обрез. Сказал:

— Вычисти и покажи.

Обрез был подернут палетом ржавчины. Приклад измочален. Это насторожило Костю. Ему не доверяют. Ведь все остальные бандиты вооружены новенькими английскими карабинами.

— Кочерга, — сказал Костя. — Ею только золу ворошить.

— Какой бог послал, — лениво ответил мужчина с плоским лицом и сделал жест рукой, давая понять, что Волгину лучше выйти из землянки.

— Керосинчику бы, — напомнил Костя.

И вот у него в руке зеленая бутылка, заткнутая пробкой, словно выдержанное вино, кусок ветоши. Волгин сидит под деревом и, насвистывая простенькую мелодию, чистит обрез...

Мимо кто-то проходит. Костя поднимает голову. И не верит глазам: по тропинке идут четверо красноармейцев. В шинелях, в буденовках с красными звездами. Только вот карабины за спинами все те же, английские. Люди, одетые в форму красноармейцев, садятся на лошадей и скачут вниз, в долину, где пенится река и в преддверии вечера курится туман...

Волгин в бессилии плюнул... Вот что значит не иметь связи. Бандиты задумали какую-то каверзу. А он никак не может предупредить своих. Вспомнилось наставлению Каирова: «Твоя задача — Козяков. Ты должен выкрасть его при первом удобном случае. Очень важно ничем не выдать себя. Поэтому связь будет односторонней. Если нам потребуется что-то сообщить, к тебе придет человек. И скажет: «Поклон от Кравца».

Той же ночью неизвестные вырезали семью столяра Антипова и запалили дом. Соседи, боявшиеся прийти на

помощь, все же следили за происходившим через окна и теперь в один голос утверждали, что налетчиков было четверо и все они красноармейцы.

Кравца мучила зубная боль, но, паля папиросу за папиросой, он лично допрашивал свидетелей. И вся загвоздка была в том, что Кравец, хотя ни на иоту не сомневался, что это дело рук бандитов Козякова, все же не мог понять, почему жертвой вдруг стал Антипов и его семья. Хромоногий столяр никогда не служил ни в какой армии, был человеком весьма зажиточным, к Советской власти особой любви не проявлял...

Когда вышел последний свидетель, Кравец спрятал исписанные фиолетовыми чернилами листки в ящик стола. Положив руки на бедра и слегка прогнувшись, он вдруг обратил внимание на то, что пол в кабинете давно не метен, заплыван окурками и заляпан дорожной грязью...

Кравец побрызгал пол водой прямо из графина, достал из-за печки огрызок веника и, согнувшись, принялся за работу. Он еще мел пол, когда в дверь заглянул дежурный:

— Товарищ Кравец, к вам просят.

Кравец удрученно сказал:

— Не видишь?.. Я полы мету. У нас грязнее, чем в конюшне. Сегодня вечером — генеральная уборка... Запомни.

— К вам этот...

— Кто?

— Егерь Воронин.

Воронин был бледен и зол. И глаза краснели воспаленно, словно он долго плакал.

— Присаживайтесь, — сказал Кравец и бросил веник в угол.

Но Воронин не двинулся с места. Снял шапку и, опустив голову, глухо сказал:

— Зарестуйте меня.

Не ожидавший такого разговора, Кравец подвинул егерю стул. Повторил:

— Присаживайтесь.

И сам сел. Достал из пачки папиросу. Предложил закурить Воронину. Тяжело, словно у него подкосились ноги, опустился егерь на стул. Мутно посмотрел на Крав-

ца. По старому, изморщиненному лицу Воронина катились слезы.

— Так...

Кравец вопросительно уставился на егеря. Пряча руки между коленями, Воронин начал говорить негромко и прерывисто:

— Невтерпеж держать грех на душе. Бог свидетель... Пятьдесят лет худого людям не делал. И сейчас натура не позволяет. Во-первых, знаю я, где банда Козяка. И людей сколько в банде, знаю — немногим меньше трех сотен будет. Все при конях... Это, во-вторых... И еще, слышал я, в наших краях они не задержатся. Уйдут... Сдается мне, в Турцию...

Вынув из кармана огрызок карандаша, Кравец положил перед собой листок бумаги. Угрюмо посмотрев на бумагу, Воронин напомнил:

— Только отпиши, что я добровольно, по своей чистой совести пришел. И готов отряд красных такими тропками провести, каких никто и не знает. И врасплох мы Козяка застанем. Всех бандюг сничтожим.

— Хорошо, — сказал Кравец, — что сами пришли. Но почему так поздно? Вы были у Козякова связным?

— Связным я не был... Но помнил он меня по тем годам, когда приезжал сюда с князем Кириллом охотиться. Говорит, мужик ты тертый и покладистый. Вера тебе есть... А кто на моем месте не стал бы покладистым. Люблю я свою работу. И любил... Потому и угождал всем... Хотя про себя другое думал... А почему поздно пришел, гражданин начальник? Как на духу скажу, может, вовсе бы и не пришел, если бы они Ильюшку Антипова не порешили. Племяшек он мой. Сын сестры единокровной...

— Мы тоже знаем, что это бандиты. Но зачем бы им озлоблять вас? Смысл какой?

— А чтобы я на красноармейцев больше злости лютой поимел. Да меня не проведешь. Я калач тертый. Известно мне, что они не в первый раз в форму красных переодеваются.

Лицо Воронина было суровым, глаза жестокими...

— Поможете нам, Воронин? — перегнувшись через стол, в упор спросил Кравец.

Воронин степенно кивнул. Кивнул с чувством осознанной силы, непримиримой, злой...

— Решено, — сказал Кравец. — Мы свяжемся с вами, когда вы нам понадобится. А сейчас возвращайтесь домой и ведите себя так, словно и вправду верите, что красноармейцы убили вашего племянника и его семью.

Воронин еще раз кивнул... Ушел не простившись.

Через полчаса Кравец послал две зашифрованные телефограммы. Одну начальнику ОГПУ Северо-Кавказского края, вторую руководителю операции «Парижский сапожник» Каирову.

Между тем Воронин, прежде чем отправиться к себе домой, заглянул на почту и у окошка «До востребования» спросил, не поступило ли письмо на его имя. Женщина в платке протянула конверт с зеленой маркой.

Выйдя на улицу, Воронин еще раз внимательно оглядел конверт, но распечатывать не стал и спрятал во внутренний карман. Потом сел на коня и уехал.

Сто шагов... Кравец отсчитал сто шагов и остановился посреди кабинета. Кабинет был маленький. И Кравец несколько минут ходил из угла в угол. Сизая темнота заполняла комнату. И она немного давила, эта темнота. Во всяком случае, мешала думать... Тогда Кравец снял стекло с керосиновой лампы. Чиркнул спичку и коснулся ею паленого фитиля. Желтый огонь, подернутый черной копотью, потянулся кверху. С хрустящим стуком влезло в гнездо стекло. Сразу же сделалось светлее. Кравец поднял лампу и, приблизившись к стене, повесил ее на гвоздь.

Ни из Ростова, ни от Каирова ответных телефограмм еще не поступало. Кравец подумывал, не связаться ли ему лично с командиром кавалерийского отряда и, воспользовавшись помощью Воронина, накрыть бандитов врасплох.

Это было очень заманчиво — покопчить с Козяковым одним ударом, понеся при операции минимальные потери. А он, Кравец, был уверен, что бандиты не ожидают нападения и не смогут оказать особого сопротивления.

С другой стороны, как человек опытный, он должен был взвесить все варианты. В том числе и самый худший... Но Кравец уже не спал двое суток. И в голове у него гудело. Неплохо бы отдохнуть...

Однако явился новый свидетель и задал новую задачу.

Переминаясь с ноги на ногу, колхозник Никодим Буров сказал, что подозревает в убийстве Антипова егеря Воронина.

— Встретил я его наемни. Плачет в тряпочку, да уж больно усердно. Жаль ему Илью... Может, это все и правда... Горе человеческое осмеивать грех... Но по тому, как знаю егеря Воронина характером, радоваться смерти племянника он должен... Известно мне, что они золотишко на Лабе при англичанах промывали и опосля тоже. И где-то вместе, как говорил однажды выпивший Антипов, до лучших времен заховали.

— Когда Антипов говорил про золото?

— Года два... три назад. На пасху...

— А если он просто болтнул?

— Я здесь родился и всю жизнь здесь безвыездно и безвыходно... Как облупленного Антипова знаю. Месяцами пропадал он на Рожкао. Красный камень толок...

— Конгломерат?

— Он самый.

— А разве вы в тех местах не бывали?

— Случалось, за ладаном ходил. Много его в горах. Попы хорошо за ладан платили...

Часть вторая

ТРЕВОГА

1. Иван Поддувайло

— А ты знаешь, как зовут моего щенка? — спросил Егорка.

— Бобик, — ответил Иван.

— Фи, — сказал Егорка. — Бобик в каждом дворе есть. Кот Васька. И собаки: Жучка или Бобик. В зависимости, к какому роду относятся — мужчинскому или женскому.

— Ты и в этом разбираешься, — ухмыльнулся Иван и присел на лавочку, что стояла у крашенного в желтый цвет забора.

Егорка поднял с земли крупный камень, высоко пулнул его в небо. И, заломив набекрень шапку, ответил: — Я мужик. Потому и разбираюсь. А как же иначе? Мне целых девять лет...

— Много, — согласился Иван, достал кисет с махоркой. — Не куришь?

— Горько. И не интересно.

— А что интересно?

— То, что другие не делают.

— Потеха, — сказал Иван. — Другие вниз головой не ходят.

— А я умею. На руках... Смотри.

Егорка вначале снял шапку, потом вынул из кармана рогатку, гвоздь, сломанный ножик и темную ружейную гильзу. Сложил все в шапку. Протянул ее Ивану:

— Держи.

Стал на руки. И, едва покачивая ногами, одолел метров десять. Потом согнулся. Присел на корточки. Лицо красное. Глаза улыбочивые.

— Вот, — сказал Егорка. — Ты, конечно, так не сможешь...

— Тебе бы циркачом, — уважительно сказал Иван.

— Нет. Я стану изобретателем. Самолет, понимаешь, хочу придумать с пропеллером на хвосте.

— Шиворот-навыворот...

— Как считать... А может, мотор впереди и есть — шиворот-навыворот... Ты почему знаешь? Один мудрец надумал собак звать Бёбиками. А все решили, что так и нужно.

Иван задымил самокруткой. Лукаво следил за тем, как Егор прячет в карманы свои сокровища.

— Покажи саблю, — вдруг попросил мальчишка. — Она у тебя большущая?

Иван сказал:

— Сабля как сабля... Обыкновенная.

— Хоть одного бандита зарубил?

— Зачем же одного? — степенно ответил Иван. — До десяти считать умеешь?

— До тыщи.

— Хвастанул.

— Могу посчитать... Только шестнадцать минут слушать придется.

— Тогда сдаюсь...

— То-то... — Егор присел на лавочку рядом с Иваном и милостиво сказал: — Так и быть... Щенка я назвал Аскольдом.

Иван в удивлении приподнял брови.

— Никому не нравится, — согласился Егорка. — А мне очень. Открытка есть такая. На ней корабль с пушками. И написано: «Крейсер «Аскольд».

— Но щенок же не крейсер...

— Конечно нет... Но ведь имя же красивое...

— Сносное...

Егорка махнул рукой:

— Бестолковый ты... Не пойму, зачем ко мне каждый день приходишь?

— Сынок в Виннице таких лет, как ты, остался.

— Егорка тоже?

— Нет. Тарас...

— Хорошо. Представляю, была бы скучища, если бы всех Егорками звали...

— Имен в святцах много, — сказал Иван.

— А что такое святцы?

— Ну... У батюшки...

Иван не закончил фразы. На окраине станицы, у речки, где уже белел редкий туман, раздался звук военной трубы.

«Тра-та-та...»

Тревога!

— Прощай, Егорка, — сказал Иван. — Живы будем, свидимся!

2. Семен Лобачев

День был сухой. И земля не липла к подошвам. И у заборов вновь зеленела трава, короткая и очень яркая трава. Солнце тоже было ярким, почти весенним. Но земля пахла иначе, чем весной. И тут уж ничего нельзя было поделать.

Через улицу, на протянутой веревке, сушилось белье. У кого-то на чердаке ворковали голуби. Тощая собака лежала возле церковной паперти и, урча, покусывала на себе шерсть. Церковь была заколочена двумя досками крест-накрест. На одной из них чернела надпись: «брутто 600».

В центре площади, хранившей следы колес и лошадиных копыт, горбатый мужик торговал керосином. Ке-

росиян был в цистерне, закрепленной на телеге. Пегий конь уныло шевелил хвостом.

С десяток женщин — кто с ведром, кто с банкой, кто с бутылкой — стояли друг за дружкой.

Семен узнал Марию. Она стояла второй от конца очереди, держа в руке бутылку, покрытую плетеным чехлом. Мария тоже увидела Семена. Но не улыбнулась, не кивнула, а посмотрела, словно незрячая... Семен сделал вид, что не знает ее. Но убавил шаг. И пошел тихо-претихо, потому что торопиться теперь просто было ни к чему.

За околицей, где дорога разветвлялась, находился колодец. Возле колодца мутнели лужи. И веревка на барабане была мокрой.

Семен вспомнил, что нужно бы простирнуть носовой платок. Но ведра у колодца не было. И вообще стирать возле колодца — неприлично.

Тропинка медленно сползала вниз, а потом опять поднималась вверх, огибая три раскидистые акации, поодаль от которых стоял сарай для сена с широкими, распахнутыми настежь дверями.

Вначале Семен остановился под акацией. Закурил. Темные, похожие на двоеточие, муравьи торопливо ползали, нет, бегали вверх-вниз по стволу дерева. Семен обдал муравьев дымом. И длинная цепочка стала еще подвижнее. «Насекомое, — подумал Семен. — Захочу и раздавлю». Но давить не стал. Просто пугал их дымом. И все...

А когда самокрутка укоротилась до величипы наперстка и уже обжигала губы и пальцы, Семен щелчком бросил ее на дорогу. И она полетела, оставляя за собой хвост мелких, быстро гаснущих искорок...

Семен пошел к сараю...

Он упал в душистое сено лицом вниз. И лежал так до тех пор, пока не почувствовал, что начинает засыпать. Тогда он сел, протянув длинные ноги, и принялся растирать виски.

Мария показалась в светлом проеме двери как-то неожиданно. Она оперлась рукой о косяк и смотрела на Семена. Он не мог сказать, смотрит ли она с интересом, с любопытством или с волнением, тепло ли, холодно... Она глядела без улыбки и без зла. Глядела, может, просто потому, что у нее есть глаза. И она не могла стоять на пороге сарая и жмуриться, точно от яркого света.

Он позвал:

— Иди сюда.

Она покачала головой, чуть разжав губы: они были у нее влажные и темные. Вероятно, она часто облизывала их.

— Иди сюда, — повторил он.

— Мне так лучше, — сказала она. — Я смотрю на тебя сверху. И ты кажешься маленьким. А ведь ты большой, как дом. И я боюсь тебя.

Мария повела головой, и коса свесилась через плечо. Мария стала расплетать ее, словно здесь никого не было.

— У тебя волосы, как у цыганки, — сказал он.

— Ну и что?

— Просто красиво. И глаза у тебя красивые, и лицо. И все остальное.

Она покраснела. И он поднялся и стал рядом с ней.

— Ты боишься меня? — спросил он.

— Я боюсь темноты. И мышей, — ответила она.

— Не надо стоять в дверях, — сказал он. — Нас могут заметить. И пойдут разговоры.

— Обо мне и так идут разговоры, — возразила она.

— Ну и пусть, — сказал он. — На то у людей и языки, чтобы болтать ими...

— Ты же не хочешь разговоров...

— Я никого здесь не знаю. И не желаю слышать, что о тебе говорят. Я боец Красной Армии. Я здесь для дела...

— Уедешь... А обо мне опять будут судачить.

Сейчас она теребила косу, а он стоял близко и держал Марию за локоть.

— Всему причиной зависть.

— Нет, — возразила она. — Ты совсем меня не знаешь...

— Знаю. Ты самая лучшая... Я женюсь на тебе.

Она усмехнулась:

— Было бы сказано...

— Я женюсь... Я люблю тебя. Мне сегодня ничего не нужно. Понимаешь, ничего... Я люблю тебя. И вернусь, как только бандитов переловим. А о прошлом забудь. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Я ведь тоже, Мария, не ангел. Я люблю, люблю, люблю...

Губы ее пахли садом. И сено звало, точно обрело язык...

Но в самый последний момент, когда уже не было назад дороги, раздался тревожный звук боевой трубы.

«Тра-та-та...»

3. Боря Кнут

Библия весила не меньше пяти килограммов. И не потому, что страниц в ней было больше, чем в обычной библии. Страниц столько же. Но они были толстые и желтые. И очень гладкие, как стекло.

Красноармейцы, большинство из которых не видело никакой другой бумаги, кроме газетной, огрубевшими пальцами гладили страницу, словно кошку. И удивлялись буквам. Крупным, темным и сочным, как смородина.

В книге были цветные иллюстрации на божественные темы, переложенные тонкой бумагой. Но сейчас осталось всего две-три картинки, сверх которых лежала полупрозрачная, словно туман, бумага. Уж очень хороши самокрутки из этой бумаги. Точно папиросы.

Переплет был кожаный, темно-коричневый, с позолоченными уголками и застежками.

Библию Боря заполучил в Батайске. Старуха учительница сунула ему в руки книгу вместо платы за перекладку печи. Он и не хотел никакой платы. И возился с печкой потому, что учительница больно хорошо рассказывала бойцам про Пушкина... И Боря Кнут отнекивался. Но старуха сказала, что она сама безбожница и что книга большую ценность имеет, если предложить ее знающему человеку.

Боря возил с собой библию около года. И вот теперь, верно, настала пора распрощаться с ношей. И какую бы ценность она ни представляла, нужно найти в станице осведомленного по религиозной части человека. И договориться...

Крути не крути, думай не думай, а двадцать лет исполняется один раз в жизни. И двадцать лет — это не тридцать и не сорок. А как раз тот самый юбилей, которому радуются. Впереди целая жизнь!

Тонкую бумажку следует приберечь на самокрутки. Ну, а книгу... Самым подходящим покупателем для нее может быть местный батюшка. И хотя церковь в станице закрыта, а батюшка, по словам хозяйки, у которой квартировало их отделение, занимался исключительно садом и пчелами, Боря Кнут тайл надежду, что литра два самогона или какой-нибудь другой, достойной заменить его жидкости, у неглупого человека всегда найдется.

А то, что церковники — люди хитрые и ума не лишенные, Боря Кнут понял давным-давно, когда еще был мальчонкой...

Но не стоит вдаваться в воспоминания.

Попик, короткобродый, седенький и чуточку обрюзгший, очищал граблями землю. В саду уже был целый ворох листьев. И попик собирался поджечь их, чтобы дым окурил деревья и черви разны, гусеницы, букашки подошли бы.

Боря Кнут никогда не ходил в церковь и не знал, как нужно величать священника: батюшкой, святым отцом, гражданином или товарищем. Он с минуту нерешительно топтался возле забора. Наконец вспомнил сказку Пушкина, которую читала им батаяская учительница, и крикнул:

— Эй! Поп! Ходи сюда!

Природа наделила Борю громким басом, и от смущения он позвал попа так, как если бы стоял на посту и вдруг заметил неизвестного. Не удивительно, что попик выронил грабли и со страхом смотрел на грозного верзилу в длинной, до самых пят, кавалерийской шинели.

Боря подумал, что поп артачится, и поэтому разозлился и постучал библией по забору, назвав при этом попа дураком.

Батюшка, пятясь, точно рак, начал медленно отходить к дому, видимо полагая укрыться под защитой его голубых стен.

Тогда Боря понял, в чем дело. И улыбнулся. И миролюбиво поманил попа пальцем.

— Ходь ко мне. Ходь. Не бойся.

Поп часто заморгал глазами и торопливо пошел к забору. Но остановился метрах в трех, не дойдя до ограды. Бабым голосом спросил:

— Чем могу служить, сын мой?

— Тут вот какое дело, — сказал Боря Кнут. — Двадцать лет мне, святой отец, исполнилось...

Боря специально вставил выражение «святой отец», надеясь, что оно звучит благороднее, чем поп. Хотя поп, может, и правильнее... Занятый мыслями, Боря умолк и даже покраснел от напряжения. И батюшка пришел ему на помощь.

— Понимаю, сын мой... Ты дитя некрещеное. Овца заблудшая. Хочешь в двадцатилетие приобщиться к христианству?

Боря не расслышал. Или, может, просто не понял витиеватой речи батюшки. Кивнув на всякий случай головой, Боря сказал:

— Овца мне не попадалась. А что приобщиться, так это точно.

— Похвально, сын мой, похвально, — жалобно продолжал попик. — Но со слезой в душе признаюсь... С грустью... Условия что ни есть — самые домашние. Тазик с водой...

— Кустарщина... — согласился Боря. — Будь мы в Ростове, я бы тебе, поп, змеевик сделал. — Он спохватился. И поправился: — Святой отец то есть...

Попик от удивления приоткрыл рот:

— Змеевик?..

— Да что ты такой пужливый? — взмолился Боря Кнут. — Да посмотри, какая книга. Очень даже шикарная!

Он прижался грудью к забору и протянул руку с книгой через штакет.

Поп взял книгу и долго любовался обложкой. И по мере этого любования менялось выражение его лица, как меняется цвет неба на закате или при восходе солнца.

Он листал книгу с упоением. И Боря Кнут понял, что хотя поп человек пужливый, но в библиях он, конечно, волка съел. И может, следует запросить не два литра самогона, а целых три.

— Четверты! — грозно сказал Боря. И уже совсем просительно, словно убоявшись своего грубого голоса, пояснил: — Самогону!

Поп еще не сообразил, чего хочет этот странный красный солдат, принесший редкостную по красоте и ценности книгу.

— День рождения у меня. Двадцать лет! Друзья... Выпить бы по маленьку нужно... Самогону бы... — объяснял Боря.

— Самогону, — глухо повторил попик.

— Четверть самогону, — уточнил Боря.

— Так много... У меня нет сегодня так много, — говорил попик, прижимая библию к узкой груди. И руки у него были белые и немного тряслись.

— Тащи, сколько есть.

— Литра два нацēju.

— Давай два литра. Остальное завтра.

Попик повернулся и засеменил к дому...

Голубело небо. И воздух был прохладный, свежий. И ветер был точно весенний. И запах дыма...

Боря Кнут смотрел на голубой дом и говорил про себя, что поп совсем не дурак и устроился с удобствами. Он видел, как попадья шмыгнула в сарай и что-то вынесла оттуда, накрытое черной тряпкой.

Попадья скрылась в доме.

И в это время Боря услышал тревожный звук трубы. «Тра-та-та...»

Он еще стоял несколько секунд. Но поп что-то мешкал... Боря махнул рукой и побежал прочь от дома...

Навстречу ему несло «тра-та-та...»

4. Иван Беспризорный

Он держал в руке карандаш, но заточить его было нечем. И тогда Иван вынул саблю из ножен, улыбнулся собственной выдумке. И родилась первая строчка:

Я карандаш затачиваю саблей...

Строчка понравилась Ивану потому, что она точно выражала суть времени, его правду, задавала тон будущему стихотворению.

Мелкая стружка падала в воду. Вертелась и покачивалась, уплывая вниз по течению речушки. Сидящий рядом на мостках мужичок недовольно покосился на Ивана, но ничего не сказал. И опять забросил удочку. В сетке, связанной узлом и свисавшей над сваями, трепыхались два окунька и молодой судачок.

Моей сестрой и матерью моей...

Сложил Иван и тут же передумал. Можно ли затачивать карандаш сестрой, а тем более матерью? Бред!

По настилу кто-то пробежал. Черномордая дворняга с отвислыми ушами уткнулась в плечо мужичка и радостно виляла хвостом.

Иван записал:

Она мне друг вернее, чем собака...

Мужичок дернул удочку. Собака радостно завизжала. На крючке вертелся окунь размером с ладонь.

Рыболов, сопя, снял добычу с крючка. Собака водила мордой, нетерпеливо скребла лапами о доски. Мужичок пнул ее локтем, сказал:

— Пшел!

Подтянул сетку, развязал, опустил в нее рыбешку.

Она за труд не требует награды...

Иван Беспризорный остался доволен последней строчкой. Но стихи получались белыми. И это немного смущало его. Он никогда не писал белых стихов и боялся, что они получатся несобранными. Но с другой стороны, когда-то нужно было приниматься и за белые стихи.

Я карандаш затачиваю саблей.
Она мне друг вернее, чем собака.
Она за труд не требует награды.

Дальше, как понимал Иван, должен следовать вывод. Смысловой вывод. А это давалось Ивану труднее всего.

В воздухе стояли запахи гнилых свай, реки и домашнего дымка. Иван провожал взглядом поблескивающие на закате всплески и думал, как окончится служба, и он вернется в Москву, и тетрадь будет исписана до последней страницы правдивыми стихами, пахнущими махоркой, и солдатским потом, и порохом. И выйдет его первая книжка. И на обложке будет нарисован человек в буденовке, при коне.

Чем же закончить четверостишие?

И сабля никогда не обманет, если я сам себя не обману... По смыслу верно. Но ритм нарушен... Это уже проза.

Не подведет, не выдаст, не обманет,
Если я сам не обману себя.

Иван торопливо записал последние строки...

— Письмо сочинишь? — вдруг сипло спросил рыболов.

— Сочиняю... — ответил Иван, словно отмахнулся.

— Из дальних мест родом-то?

Но Иван уже не слышал рыболова.

Я карандаш затачиваю саблей.
Она мне друг вернее, чем собака.
Она за труд не требует награды,
Не подведет, не выдаст, не обманет,
Если я сам не обману себя.

Хорошо или плохо? Хорошо или плохо? Вот бы с человеком толковым посоветоваться...

Звук трубы. Будто крик! Будто гром! Будто молния!
«Тра-та-та...»

Тревога!

Часть третья

ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ

1

В тот год Европу заливали осенние дожди...

И люди, стоя в очередях за газетами, держали над собой зонтики. Черные зонтики — один около другого, похожие сверху на летучих мышей. Газеты, как всегда, пахли типографской краской. И жирно набранные заголовки на полосах бросались в глаза. Это были новости. Калейдоскоп новостей. Их приносили радио, телеграф, телефон...

Политическая полиция закрыла во Франкфурте-на-Майне институт социальных исследований, обвиняя его в том, что он поощряет антигосударственные стремления.

На совещании исполнительного комитета федерации лесоторговцев в Лондоне было принято постановление отклонить вмешательство канадского премьера Беннета во внутренние дела Англии и правительству был послан протест с требованием, чтобы лесоторговцы при заключении сделок предварительно совещались с федерацией. Эти решения расцениваются как различное отношение к импорту советского и канадского леса. Указывается, что Канада не в состоянии снабжать в достаточном количестве Англию нужным ей лесом и не может предложить лес по ценам, приближающимся к ценам тех же сортов леса, предлагаемых СССР.

Сотрудники Академии наук СССР, работая в Библиотеке имени В. И. Ленина и в архивах и книгохранилищах Горьковского края, обнаружили новые материалы о восстании Степана Разина. Найденные документы подробно освещают крестьянский быт екатерининской эпохи

и дают новые сведения о разгроме ряда сел при ликвидации восстания 1670 года.

Сегодня на берлинской бирже курс доллара снова упал до 2,86 германской марки против вчерашнего курса — 2,90 за доллар (паритет 4,20 марки).

Вашингтон. Из авторитетных источников стало известно, что Рузвельт намерен без всяких ограничений осуществить программу военно-морского строительства. В 1936 году, когда программа будет завершена, в американском флоте окажется на 101 судно меньше, чем это разрешено договорами, а в английском флоте — на 64 судна меньше, тогда как японский флот достигнет к этому времени максимальных пределов.

Вчера в 16 час. 15 мин. три французских самолета, на которых следовал французский министр авиации Пьер Кот и его спутники, снизились на центральном аэродроме Аэрофлота в Москве. Все три прибывших самолета — трехмоторные монопланы. Особый интерес представляет флагманский аппарат «Девуатин-332».

Агентство Ассошиэйтэд Пресс передает из Буэнос-Айреса, что все попытки Аргентины, Бразилии, Чили и Перу выступить с посредничеством между Боливией и Парагваем потерпели неудачу. По словам агентства, Парагвай готовится к «войне на неопределенный срок для оказания сопротивления Боливии». Парагвайское правительство намерено завербовать в свои войска 10 тыс. русских белоэмигрантов-казаков. Царский генерал Беляев направляется в Европу в целях вербовки. Парагвайское правительство обещает белогвардейцам, которые примут участие в войне, земельные наделы в районе Чако, послужившим поводом для конфликта. Агентство указывает, что расходы по переправке белогвардейцев взял на себя «видный парижанин».

По сообщениям из Гаваны, стачечное движение на Кубе ширится. Рабочие захватили в свои руки ряд новых сахарных заводов, требуя от американских предпринимателей повышения зарплаты. Опасаясь растущего революционирования солдат, рабочих и крестьян, новое правительство Сан-Мартина вооружает несколько тысяч студентов. Многих капралов и сержантов правительства продвинуло на высшие должности.

Радио, телеграф, телефон...

Осень тысяча девятьсот тридцать третьего года...

Тучи на рассвете густели. И горы казались плоскими, точно наляпанными на бумагу. Из щели дул ветер. Листья падали темные, как тучи.

Ведомые под уздцы кони ступали осторожно, будто не доверяли мокрым камням, прятавшимся под листьями. Требухов шел впереди. И его спина в запачканной глиной телогрейке маятником раскачивалась перед глазами Волгина.

Всю дорогу молчали. И это было удобно, потому что пужно было думать. Думать серьезно, как никогда. У Волгина были все основания ругать себя за то, что выполнение задания затянулось, что события приняли такой оборот, когда трудно предсказать, чем они кончатся. Но, с другой стороны, работать без связи почти невозможно. Не с кем посоветоваться, некого проинформировать...

Если даже он, Волгин, больше никогда не попадет в банду, не увидит Козякова, время, которое он пробыл здесь, даром не пропало... Ему известен пароль. Это и мало, и много. Мало, если тот, кто скрывается в городе, что-то заподозрит и не придет на место встречи. Много, если все будет хорошо... Потому что похищение Козякова не было самоцелью. Он нужен был живой, чтобы дать сведения. Рассказать, кто же действительный руководитель бандитских шайк, кто снабдил их английскими карабинами, патронами...

Этот пароль ниточка. А может, леска. Авось добыча не сорвется. И если сейчас вести себя, как нужно, и, купив билет на первый же скорый поезд, уехать в город, то Каиров не станет сердиться, не скажет: «Подвел. Сорвал серьезное задание». Вернее, не сказал бы. Не будь этой свадьбы...

Но свадьба состоялась... Да, дети не отвечают за родителей. Пусть Анастасия Козякова — человек наивный и легкомысленный, но она не преступница... Нет, нет, нет. И она красивая. И Костя Волгин любит ее. Он никого не любил раньше. А теперь любит. Но, честное слово, он не собирался на ней жениться. Честное-честное...

Да, это трудно доказать... Сейчас, когда он не привез Козякова, связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту... Можно подумать, что это так просто — связать Козякова, словно грудного ребенка.

Костя очень рассчитывал на свадьбу, когда узнал, что она состоится в доме Воронина. Он был уверен, что гости перепьются. И если выйти с дорогим тестем подышать свежим воздухом, а потом ударить его по черепу маленьким, но таким тяжелым браунингом, который лежит в кармане куртки... И тогда не велика проблема связать его и положить поперек седла. А за полчаса, даже за полчаса можно уйти далеко...

И Косте удалось в ту ночь выманить Козякова из дому.

Холодный ветер трепал ветки. И они раскачивались, словно в танце. Иней подбелил землю, и ступеньки крыльца, и перила. Тихо ржали кони, привязанные у сарая. Мотали хвостами, гривами.

Козяков прислонился плечом к стене, спокойный, довольный. Смотрел на Волгина, попыхивая папиросой.

Волгин нащупал в кармане пистолет. Взял за ствол. Рукоятка достаточно тяжела, чтобы свалить кого угодно...

— Что ты хотел сказать мне, Аполлон? — голос Козякова был почти ласковым.

— Я теперь не один... Мы с Анастасией должны убраться отсюда, пока не настали морозы.

Он повел локтем, намереваясь вынуть из кармана пистолет. И мгновенно нанести удар. Но... Скрипнула дверь. Хмельные голоса на секунду стали громкими. Однако тут же опять затихли, словно удалились. На крыльце кто-то остался. Козяков передернул плечами и пошел к крыльцу. Волгин не двинулся с места.

— Что, Генрих, не пьется?

— Нужно ехать, — сказал Требухов.

— Аполлон, останешься здесь.

— Я бы с вами, — возразил Волгин.

— Хорошо зятек... От молодой жепы в первую же ночь убежать готов. Останешься до утра... Воронин проводит тебя. Мы будем на прежнем месте.

Все так же не унимался ветер. Хлопала дверь. Бандиты выходили поодиночке. С ухмылкой желали Волгину счастливой ночи.

Садились на коней. Стук копыт растворялся в шуме ветра... Горы лежали вокруг мрачными, черными пятнами. Где-то за ними была луна. Она немного подсвечивала. И поэтому небо было светлее, чем горы. А горы казались еще непрогляднее.

Старуха убирала посуду. Воронин дремал, положив голову прямо на стол.

— Ступай, — старуха кивком указала на дверь. — Волнуется она. Молодое дело известное...

Волгин вошел в комнату Анастасии. Лампа была приглашена. На спинке стула висело белье. Волгин смутился и перевел взгляд. Анастасия лежала в кровати, повернувшись лицом к стене...

Внезапно Требухов остановился, подал знак рукой. Внизу, по обмелевшей речке, двигался конный дозор. Пятеро всадников в буденовках, с карабинами в руках. Передний вскинул бинокль и долго рассматривал склон горы. Потом он что-то сказал товарищам. Всадники подъехали к горе. Теперь кусты и деревья скрывали их из виду.

Требухов шепнул:

— Надо уходить.

Вскочили на коней. И...

Днем прятались. В расщелине между скал... Вечером еще ехали около двух часов.

Наконец коней привязали в кустах близ самшита, единственного на опушке, потому приметного. Несколько километров шли до станции пешком. Уже стемнело. Дорога была незнакомая, осенняя, студеная, с вязкой глиной и лежалыми листьями.

Паровозный гудок подсказал, что станция близко. На поросшем травой запасном пути стояло несколько товарных вагонов. В маленьких, под самой крышей, оконцах бледнел свет. Сушилось белье на не видимых в темноте веревках. Играла гармошка, однообразно и вызывающе. И кто-то танцевал, кажется в крайнем вагоне, возле которого уже было срублено крыльцо из некрашенных досок.

Женщина вышла из вагона и сказала кому-то, оставшемуся в тепле:

— Снимать нужно. Сыроватое... Да уж стащат, ищи ветра в поле.

Вот люди и живут. Работают, спят, стирают белье. А ветер сушит его. Хорошо. Все хорошо. И гармошка играет. Хорошо. Значит, людям радостно.

Волгин и Требухов прошли близ женщины. Она посмотрела на них. Пристально или подозрительно, попробуй разберись.

Когда шагали по шпалам, Требухов сказал:

— Пожрать бы.

Метров через тридцать остановились. Вдоль линии лежали горки угля. Под фонарем, висевшим на перекошенном столбе, топтался красноармеец, держа поперек винтовку. Искрящийся шар мерцал вокруг лампочки. Волгин провел по лицу рукой. Мокро. Изморось была мелкой и липкой, как туман.

— Придется в обход, — с досадой сказал Требухов.

— Не заблудимся?

— Язык до Киева доведет...

Но спрашивать не пришлось. Несмотря на то что было еще не поздно, на улицах не встретилось ни одного человека. Требухов сориентировался по водонапорной башне, и вскоре они стучали в нужную калитку. Долго лаяла собака. Неприветливо, хрипло. Потом вышел хозяин:

— Чего желаете, люди добрые?

— Еще минута, и я бы пристрелил твоего пса, — раздраженно ответил Требухов. — Рано спать ложишься, свояк.

— Днем не бездельничаем, — ответил хозяин.

— Керосин экономим, — подсказал Требухов.

— Проходите. — Хозяин открыл калитку, пропустил их во двор. Сам же вышел на улицу. Оглянулся. Никого не было.

Все это не нравилось Волгину. И предчувствие не обмануло его. Едва вошли в теплую продыmlенную комнату, как человек с коротко подстриженными волосами показался ему знакомым. Стриженный и еще один угрюмый мужчина с крупным подбородком сидели за столом, в центре которого светила пятилинейная лампа. На столе, застланном чистой скатертью, больше ничего не было. Стриженный, верно, тоже узнал Волгина. Глаза его беспокойно забегали, и он убрал руки со стола, сунув их в карманы.

Может, это ловушка? Может, все подстроено Козяковым? Хорошо. Если Козяков заподозрил Костю, то зачем такие сложности? Разве он не мог прикончить его там, в горах? Резон. Последний разговор с Козяковым был особенным. Это был разговор тестя с зятем. И Козяков доверил ему такое, на что ни Волгин, ни Каиров даже не рассчитывали. Прибыв в город, Волгин должен был приклеить на углу рыбного магазина (это возле нового кол-

хозного рынка) объявление: «Коллекционер приобретет старинные медали и монеты, а также литературу по нумизматике. С предложениями обращаться: Главпочтамт, до востребования, Лазареву Юрию Михайловичу».

И все же... Костя где-то видел эту рожу. Но где, когда, при каких обстоятельствах? Опасность быть узником, разоблаченным точно подстегнула его. Костя улыбнулся, спокойно сказал:

— Здорово, ребята.

Сдержанные рукопожатия, как всегда между мало знакомыми людьми.

Требухов заявил:

— Корми, дядька. Голодные, словно волки.

Хозяин сам набросил на стол клеенку. Принес соленья, картошку, сало. Бутылку с мутным самогоном.

Выпили. Волгин неожиданно разомлел. Сказалось недоедание. Снял куртку, повесил ее на гвоздь, вбитый в стену. Волгин только позднее вспомнит, что в кармано куртки остался пистолет. А сейчас Костя думает о том, кто же этот стриженный? Кто?

Поезд на Сочи прибывал только в четыре утра. Билеты начинали продавать не раньше чем за четверть часа до отправления.

Хозяин предложил передохнуть.

Костя лег на сундуке в маленькой комнате с окном, выходящим во внутренний двор. Подушки не было. Кости положил руки под голову и сразу вспомнил...

Стриженный! Точно! Костя присутствовал на допросе, который вел Мироненко. В чем же тогда подозревали стриженного? Кажется, в ограблении...

Нет сомнения, что стриженный тоже опознал Костю Волгина.

3

Редкую ночь Граф Бокалов проводил теперь под одной и той же крышей. Каиров не советовал ему спать дома. Считалось, что Бокалов скрывается от милиции, а значит, и квартира его под наблюдением. Друзьки, чередуясь, водили Бокалова к себе. Это было не всегда удобно и, может, порою рискованно, но бродячая жизнь позволяла больше видеть и больше слышать. А это-то для него и было главным.

Видеть больше, слышать больше...

Два дня назад Граф встретился с Каировым на дровяном складе в маленькой дощатой сторожке с единственным, никогда не открывающимся окном. Каиров, по обыкновению, был в штатской одежде. Серое пальто, шарф, мягкий, из белой козлиной шерсти, кепка.

Слушал Графа, не перебивая. Похвалил за наблюдательность. Потом сказал:

— Меня очень интересует Варвара. Не сможешь ли ты с ней сблизиться, Вова?

— Если нужно, я могу пойти пешком в Америку, — заверил Граф. — До Варвары гораздо ближе... Но... Левка Сивый порядочный олух. Он несерьезный и к тому же ревнивый...

— Если Сивый тебе не нужен, — сказал Каиров, — мы приютим его у себя.

— Да, — сказал Граф. — Если Левка переселится на курорт, Варвара не вынесет одиночества. И моя дружба может оказаться весьма кстати...

— Решено, — протянул руку Каиров.

— Нет, Мирзо Иванович, нужны деньги на представительство. С тех пор как я не занимаюсь делом, мой кошелек тощ, словно мартовский кот.

— Ясно, Вова. Получишь деньги...

— Сколько?

— Для начала — пятьсот...

— Считайте, что Варвара в наших руках.

— Скажешь гоп, когда перепрыгнешь. Слушай меня внимательно, Вова. Варвара часто стала бывать в клубе иностранных моряков. Сам по себе факт не очень примечательный, поскольку этот клуб привлекает многих дота-скушек. Но Варвара амурных знакомств с моряками не заводит. И рано уходит из клуба. И всегда одна... Странно?

— Вполне, — согласился Граф Бокалов.

— Надо выяснить, зачем она приходит. Попял?

— Да.

— Действуй.

Темнело в шесть часов... Минут двадцать девятого Граф Бокалов направился к Варваре. Он решил не ехать автобусом, а пешком пройти через Старый порт, подняться к шоссе, а там до дома, где живет Варвара, рукой подать.

Вечер был с ветерком, сухим, северо-восточным ветерком с Кубанских степей. И в городе не пахло морем, а только немного нефтью. И улицы были безлюдны.

По выложенной камнем дороге прогремела телега, потом проехал мужчина на велосипеде. Тонкая луна изогнулась над горой, и тени у заборов густели нечеткие. Глухая ограда судоремонтного завода тянулась вдоль левой стороны дороги. Справа обрывистая гора, только на самой вершине перехваченная кустарником, прижимала к обочине деревянные домики, глядевшие из-под драночной крыши одним-двумя занавешенными окнами.

За оградой рабочие ночной смены клепали, вероятно, обшивку судна. Грохот пневмомолотков смешивался с повизгиванием лебедек, человеческими выкриками.

Бокалов хорошо знал этих ребят. Он и сам едва не попал работать на судоремонтный завод. Колька-инженер красочно свое житье-бытье расписывал. Инженером его на улице ребята прозвали. За смекалку, за любовь к технике. А вообще на заводе Колька слесарем в сборочном цехе... И Граф согласился пойти к нему в ученики, заявление написал. Но тут, как назло, продулся майданщикам в «двадцать одно»... Майданщики, занимавшиеся кражами на железных дорогах и в поездах, были угрюмыми и злыми. И срок для выплаты долга поставили три недели. Тогда Бокалов еще не был возведен в ранг воровского графа, и с ним можно было разговаривать на таких условиях. Бокалов сошелся с двумя чердачниками. Таскал с ними белье с чердаков: трусы, простыни, бюстгалтеры... Сбывал добычу на барахолке. Получал свой сармак — так на блатном жаргоне называлась доля... Потом познакомился с домушниками... И уже месяца через два его стали величать Графом благодаря смелости, инициативе, смекалке...

Что греха таить, Бокалов не сразу понял, куда ведет дорожка, на которую он ступил. Все это казалось игрой. Рискованной, но интересной... И действительно, было в этой жизни что-то притягательное, засасывающее, как болото... Первое открытие — назад дороги нет — было особенно безотрадным. Он стал приглядываться к своей воровской компании. И подумал, что многие из ребят, абсолютное большинство, за исключением двух-трех законченных кретинов, могли бы стать людьми, вполне полезными обществу...

...Камни делают дорогу похожей на шахматную доску. Они квадратные, но лежат не совсем ровно. И луна освещает их так, что одни камни блестят, точно смоченные водой, а другие остаются темными, шершавыми. И по камням хочется не шагать, а прыгать, как по «классикам».

Впрочем, больше всего Графу хочется довести дело, которое ему доверил Каиров, до хорошего конца. И начать новую жизнь...

Но кто это уже три квартала шагает сзади? Граф остановился, резко повернулся. Человек шел прямо на него. По силуэту и походке можно было определить, что это мужчина.

Чутьем или интуицией, называйте как хотите, Бокалов вдруг понял, что в него сейчас будут стрелять. И когда неизвестный вынул из кармана правую руку, Граф бросился к стене в надежде, что тень на какое-то время прикроет его. Он прильнул к стене, широко расставив руки, словно хотел обнять ее, и двигался боком, боком... Коленка ударилась о выступ. И Бокалов сообразил, что, может быть, судьба дарит ему последний и единственный шанс выиграть поединок. Вскочил на уступ, схватился руками за край стены и перебросил через нее туловище. В тот самый момент, когда Граф еще был на стене, первая пуля, попав в козырек, сбила с него кепку, вторая чиркнула о кромку стены, оставив на цементе темную продолговатую полосу.

Отряхнув брюки, Граф поднял с земли кепку и пошел к цеху — большому, длинному зданию, в широких окнах которого горел свет.

— Володя? — В голосе у паренька удивление, изумление. Ясно, что Колька-инженер ожидал увидеть здесь кого угодно, только не Бокалова.

— Он самый... — вяло ответил Граф.

— Как же ты сюда попал?

— Профессиональная тайна. Где у вас телефон?

— Телефон?

— Да. Хочу вызвать машину.

— Шутишь.

— Серьезно. Покажи, где телефон.

Граф посмотрел ему в глаза... И Колька не спросил больше ничего. Он провел Бокалова в кабинет начальника цеха. В это время там уже никого не бывало.

— Выйди, — сказал Граф.
И набрал номер телефона Каирова...

4

Иван Беспризорный сказал:

— Ребята, я вам стихи новые прочитать хочу...

— Не время, — ответил Семен Лобачев, который сейчас был за старшего.

Поддувайло возразил:

— Может, до рассвета никто и не объявится... Да и потом, кто знает, чьи это кони?

— Бабушка надвое гадала, — поддержал Боря Кнут. — Скорее всего, кони ворованные. И здесь милиционеру сподручнее сидеть, а не нам, бойцам Красной Армии.

— Много говорите, — заметил Семен Лобачев. И потом разрешил: — Ладно, читай... Только не громко...

— Стихотворение называется «Сабля»... — начал вполголоса Иван Беспризорный.

Я карапдаш затачиваю саблей...

Тучи расползались медленно и тихо, как расползается промокшая бумага. И появлялись звезды, маленькие, словно елочные свечи. И Семен Лобачев, который плохо слушал Ивана, глядя на небо, подумал, что третий десяток на земле живет, а первый раз видит, как звезды из-за туч появляются...

— Да, — сказал Боря Кнут. — Будешь ты, Ваня, большим поэтом. В столице жить будешь... А я к тебе проездом наведываться стану, на выпивку заниматься...

— Я серьезно, ребята. Как ваше мнение?

— Мое мнение хорошее, — сказал Поддувайло. — Но я бы больше приветствовал, если бы ты анекдоты писал.

— А про любовь что-нибудь есть? — спросил Семен Лобачев.

— В смысле — про его Марию, — посмеиваясь без злобы, уточнил Боря Кнут.

— Лирических стихотворений у меня много, — заверил Иван Беспризорный. — Хотя бы это... «Я не знаю, как зовут девчонку...»

— Тише, — вскинул винтовку Семен Лобачев. — Кто-то идет...

От дороги в сторону опушки ехали всадники...

...Ночь светилась за окном. И на полу у сундука лежал белесый квадрат, рассеченный рамою, точно крестом. Где-то скреблась мышь. В соседней комнате не спали. И замочная скважина по-прежнему оставалась желтой.

Волгин натянул сапоги, присел на сундук, мысленно ругая себя последними словами. Как же он мог оплошать? Забыть на гвозде куртку с пистолетом в кармане! Может, еще не поздно пройти в соседнюю комнату.

За стеной разговаривали. Костя замер у двери. Прислушался.

— Что я, маленький? Это точно, — говорил стриженный.

— А если путаешь? — спросил Требухов. — Ты знаешь, кто он? Зять полковника.

— Все равно... Похож он на того лягаша...

Тикали часы. Под ногами Требухова попискивали доски.

— Что будем делать? Задал ты мне задачу, — бурчал Требухов.

Костя на носках пробирается к окну. Двухстворчатую раму соединяет с наличником лишь крашеный шпингалет. Движение руки, и шпингалет легко скользит вверх. Створки расходятся беззвучно.

Земля сразу затрещала под ногами. И собака метнулась к углу дома. Но цепь была короткой. Собака лаяла, но достать Волгина не могла. А он уже бежал через сад до забора. Перевалился через забор. Очутился на улице. И кинулся вперед, ища глазами водонапорную башню.

Звезды прыгали над головой и неслись за ним вдогонку. Полная луна мелькала справа за крышами. Он махал руками, как бегун на дистанции, и пот катился по его лицу. Но рубашка была тонкая, холод легко проникал сквозь нее. Между лопатками леденило, словно он прижимался к стеклу.

Черные шпалы выползали ему под ноги. И он бежал по шпалам, помня о часовом, охранявшем уголь.

И когда часовой крикнул «Стой! Кто идет? Стой! Стреляю!», Волгин обрадовался, будто услышал голос близкого человека.

— Ты поскорей, поскорей вызывай своих, — торопил он часового. А часовой смотрел на него подозрительно, точно на сумасшедшего.

Разводящий трижды переспросил. Покачал головой. Но может, все же поверил, а может, просто путь в караульное помещение пролегал мимо дома, который занимал уполномоченный ГПУ. И разводящий заглянул туда. Кравец оказался на месте.

Кравец удивился. И не скрывал это.

А Волгин не знал, с чего начать. Не знал, что можно говорить, а что нет. Поэтому, подумав, он сказал самое простое:

— Я от Каирова.

— Два, — сказал Кравец.

— Восемь, — ответил Костя. И на всякий случай добавил: — «Парижский сапожник».

Через семнадцать минут на явку, где оставался Требухов, был совершен налет. Чекисты обыскали дом, подвал, чердак, сарай и сад, но ни Требухова, ни стриженного, ни самого хозяина найти не удалось. На кухне оказались лишь перепуганная женщина да двое плачущих детей.

Куртка Волгина висела на прежнем месте. Но импелного пистолета в боковом кармане не было.

Волгин рассказал Кравцу самое главное, про объявление с медалями и монетами. И про телеграмму, которую он должен дать на имя Воронина, если все будет хорошо.

На раздумья не было времени. Но и Кравец, и Волгин сразу сообразили, что самое главное в настоящий момент — перехватить Требухова, не дать ему возможности связаться с Козяковым. Потому что может существовать еще какой-то канал связи, по которому Козяков сумеет предупредить того, кто в городе, об опасности. И тогда сведения, добытые Волгиным, потеряют всякую цену.

Командир кавалерийского эскадрона поступил правильно, выставив засаду возле лошадей, обнаруженных на опушке.

Когда Семен Лобачев вскинул винтовку и сказал: «Тихо. Кто-то идет», — это были не Требухов и его дружки... Это шли Волгин, Кравец и кавалерист — командир взвода...

Барвара читала журнал «Вокруг света». Она любила его. Здесь печатались приключенческие повести, интересные рассказы, большей частью переводные: про далекие

моря и незнакомые города, по которым обезьяны разгуливают так же свободно, как у нас кошки.

Варваре нравилось читать такие штуки. И она выписывала журнал... Она всегда делала все, что хотела, без лишних слов и шума.

В кресле было уютно. Свет настольной лампы ложился на письменный стол, этажерку, зеленый пуфик и ковриковую дорожку неправильным кругом — с затейливым орнаментом по краям.

«Солнце опускалось за горизонт, освещая красными лучами ярко-зеленую поверхность Саргассова моря и Остров Погибших Кораблей с его лесом мачт. Этот искорверканный бурями, искрошенный временем лес, его изломанные сучья-реи, клочья парусов, редкие, как последние листья, — все это могло бы привести в уныние самого жизнерадостного человека.

Но профессор Людерс чувствовал...»

В дверь постучали. «Мать сегодня у сестры. Кто бы это мог быть?» Часы пробили один раз. Варвара машинально взглянула на циферблат: стрелки показывали половину первого. И от сознания, что она одна и уже поздно, Варвара замедлила шаги. Нерешительно остановилась перед дверью. Ей стало жутко. Но лампочка в прихожей перегорела несколько дней назад, и свет падал лишь из той комнаты, где минуту назад она читала книгу.

Стук повторился, требовательный, громкий...

Варвара подняла крючок, повернула ключ. Скрипнула дверь и поплыла в полумрак лестничной площадки. На пороге стоял мужчина в низко надвинутой на глаза кепке. Варвара вздрогнула, но... дверь уже была далеко и потянуть ее на себя просто невозможно.

Лицо мужчины показалось ей чуточку знакомым. И хотя ей было страшно, так страшно, что хотелось плакать, она ничем не выдала своего испуга, наоборот, нагло сказала:

— Алло, милый!

«Милый» холодно спросил:

— Одна?

Она неопределенно пожала плечами, лихорадочно думая, что же делать.

— Можно пройти?

— Я жду любимого, — на всякий случай соврала Варвара.

Мужчина вошел в прихожую.

— Закрой дверь, — сказал он.

— Закрой сам, — ответила она. — Я боюсь темноты.

Они прошли в комнату, где горела настольная лампа.

Мужчина спросил:

— Ты не разрешаешь мне остаться?

— Да. Это невозможно. Не переносу, когда мужчины увечат друг друга.

Варвара еще не могла его припомнить. Но он вел себя так, будто уже оставался ночевать в этой комнате. Сел в ее кресло. Достал пачку с сигаретами. Варвара охотно закурила. Бросив быстрый взгляд на пачку, заинтересовалась:

— Из загранки?

— Угадала.

С минуту он испытующе разглядывал ее. Потом сказал:

— Ты меня помнишь, Варвара?

— Глупый вопрос. Конечно же помню, ты обещал на мне жениться и увезти в какой-то.... Э... э... Скадовск!

— Я никогда не был в Скадовске.

— Это где-то между Одессой и Севастополем.

— Возможно. Но я ничего не обещал тебе.

— Я и не верю обещаниям.

— Ты большая умница, — покровительственно сказал мужчина.

И когда он сказал эти слова, она вспомнила. Год или два назад он приносил в парикмахерскую французские лаки, помаду, пудру, одеколон. Он не торговался, и все остались им очень довольны. А Варвара, польстившись на коньяк Наполеон, пригласила его к себе...

— Даже самые умные женщины мечтают выйти замуж, — ответила она.

— Верно. Тем более что всегда можно разойтись. Не правда ли?

— Не пробовала. У меня все получилось проще... Мой супруг угодил в тюрьму... Ладно, ближе к делу. У тебя есть что-нибудь для продажи?

— Зачем так быстро? Мне приятно разговаривать с тобой на отвлеченные темы. Ты молода и красива... Тебе не место в этом городе. В Одессе ты была бы королевой...

— Легко дарить комплименты. Они ничего не стоят. А деньги? Где я возьму денег, чтобы перебраться в Одессу?

- Деньги зарабатывают не только в постели.
- Я этого не знала, — с издевкой возразила она.
- Ты по-прежнему ходишь в клуб моряков?
- Не подыхать же мне со скуки.
- Сегодня не пошла?

— Я хожу не каждый день. Кстати, сегодня понедельник, а по понедельникам клуб не работает.

— Я знаю. Поэтому хочу попросить тебя об одной услуге.

Она передернула плечами. У нее была такая привычка. Может, заменявшая усмешку. Может, слова, которые она не смогла бы так быстро подобрать.

— В среду передай эту книгу моему другу. Вы встретитесь с ним в клубе моряков.

Мужчина вынул из-под пальто книгу. Варвара прочла на буром корешке: «Граф Монте-Кристо».

— Как зовут твоего друга?

— Неважно. Он сам подойдет к тебе. Ты будешь ждать его в бильярдной комнате и держать книгу на коленях, раскрытую на тринадцатой странице...

Она скорчила гримасу.

— Не бойся... Все нормально. Я полагал это сделать сам. Но мы стоим в этом порту только семнадцать часов вместо обещанных трех суток. Если он не придет в эту среду, жди в следующую...

— Дуру нашел... — ответила Варвара. — Буду я, как идиотка, таскаться на танцы с книгой.

Достав из кармана бумажник, мужчина отсчитал три сотенные и положил на стол рядом с книгой.

— Это аванс... Потом получишь еще столько. Как видишь, работа не физическая и для здоровья не вредная. Согласна?

Варвара молча кивнула. Однако, словно торгуясь, сказала:

— По нынешним ценам это не такие уж большие деньги.

— Больше, чем твоя зарплата, между прочим, — резонно заметил он. Но все же опять полез в карман за бумажником и добавил еще сотню.

Она закрыла за ним дверь и несколько минут стояла не двигаясь, зажав ладошками рот, готовая кричать от страха.

Припекало солнце. Оно выглянуло совсем недавно, жаркое полуденное солнце. И легкая дымка дрожала над землей и над деревьями, потому что и земля, и деревья, и опавшие листья еще блестели влагой. А ветра не было. И только птицы колыхали ветки, когда садились на них. Ветки поддавались, как резина мячика под пальцами ребенка. И капли падали на землю, яркие, словно кусочки солнца.

В темных лужах, мелких, точно блюдца, лежали листья, над которыми трещали кузнечики: зеленые — величиною с палец, коричневые — размером с фасоль. Выпорхнула бабочка с длинными, стреловидными крыльями в черную полоску и долго кружилась над Волгиным, пока он не слез с коня и не повел его под уздцы.

Щебень полз под ногами. Но кусты цепко держались за землю, вставали на пути щебня. И лишь отдельные камни с тихим шорохом скатывались вниз.

Склон, по которому спускался Волгин, был открытым. И Костя и его конь могли послужить отличной мишенью, если бы кто-то захотел встретить их выстрелом. Немного успокаивало, что до Старой горы ходьбы больше часа. А засада в лощине казалась мало вероятной, потому что любая группа людей, даже самая небольшая, рисковала быть замеченной сверху.

Неизвестное ждало внизу, за тем склоном. Оно не страшило, а просто сковывало мысль. И порою Костя чувствовал себя беспомощно, точно стрелок с завязанными глазами.

Явка у Старой горы была последней зацепкой, способной возвратить Волгина в отряд Козякова. Но возвращаться можно, лишь опередив Требухова.

В лощине чуть-чуть тянуло ветром. Журчал ручей, извиваясь между мшистыми камнями. Конь опустил морду. Коснулся губами воды. Фыркнул. И начал жадно пить... Костя присел, зачерпнул горсть воды. Она была прозрачная и холодная. И зубы ломило от нее. Но пить было приятно.

Похлопав коня по крупу, Костя повел его дальше. Правый берег начисто зарос кустарником, но перебираться обратно, на левую сторону, по скользким булыжникам не хотелось. Ручей шумел... Мерно и однообразно. И шум

темного раздражал и настораживал Волгина, потому что скрадывал шаги. И свои, и чужие...

Встретился куст кизила, большой, раскидистый. Ягодами усеяна земля. Но и на ветках еще много плодов. Черно-красных! Костя дивился терпкому и одновременно сладкому вкусу переспелого кизила, пахнущего диким лесом. Руки стали черными и липкими от сока...

Но вот опять молчат над головой деревья. И небо редеет за ними, точно сквозь сито. Опять душный и неподвижный воздух. И надоедливая мошкара кружится над гривой коня. На этой последней прямой можно заставить коня бежать резвее. Только нужно ли? Километра через полтора Старая гора вырастет перед ним, загораживая горизонт, словно египетская пирамида. А на открытом участке нужно скакать во всю прыть. Скакать, как в атаку. Даже страшнее, потому что в атаку по одному не ходят...

Конь сам остановился. И Костя, не ожидавший этого, подался корпусом вперед. Тревожное ржание, настороженно поднятые уши. И вдруг чей-то стон...

Если бы жизнь была длинной, как те дороги, которые он не успел пройти. Если бы ему оставалось видеть небо, слышать ветер, дышать и бороться больше, чем семнадцать часов, Костя Волгин часто вспоминал бы эту минуту, когда он спрыгнул с коня. И в придорожных кустах увидел Анастасию. Следы крови. И свой браунинг, маленький, но тяжелый, который она сжимала в руке.

Он уже не думал о том, как Анастасия очутилась здесь, на дороге к горе Старой. Он понял главное: Требухов опередил его...

7

Женщина, перевязанная платком крест-накрест, выкапывала клубни георгин. Бережно складывала их в плетеную перепачканную корзину... Неширокая, метра в полтора, полоса, окаймляющая газон перед входом в клуб моряков, еще неделю назад белевшая живыми цветами, теперь была перекопана. И женщина уже заканчивала работу, когда оперативный уполномоченный Золотухин появился на набережной.

Втиснутая в море гора чернела, словно вырубленная из угля. Волны переливались бликами, желтыми вблизи, а у горизонта розовыми. Солнце садилось.

Увидев Золотухина, женщина собрала клубни, взяла корзинку и ушла...

Наступил черед Золотухина. Он поставил мольберт, достал краски...

Свет менялся, и тени исчезали. Быстро и заметно, точно след воды на горячем песке. Скрежетали лебедки. Вода омывала свои обветренной пристани, к которой швартовался грязный, точно бродяга, сухогруз. На его корме трепыхал флаг, сейчас малиновый, потому что закат был очень ярким, и настоящий цвет флага Золотухин не смог определить. Вдоль набережной, словно оспой, изрытой солнцем и солью, сидели рыболовы: с десятков мальчишек и меньше — стариков. Удилища свисали над водой. Но рыба ловилась плохо... Впрочем, Золотухин не имел возможности все время наблюдать за рыбаками. Гораздо больше его интересовали люди, входившие в клуб моряков и выходявшие оттуда.

Несмотря на то что вход в клуб моряков был свободным, местные жители редко приходили сюда. Когда наступали сумерки, возле клуба появлялись девицы определенной категории. Они знакомились с моряками, своими и чужеземными, тут же в скверике.

Клуб моряков работал ежедневно, кроме понедельника. Это был красивый трехэтажный дом с большим концертным, бильярдным, танцевальным залами, фешенебельным рестораном, где за боны или прямо за доллары, фунты, марки продавались самые изысканные блюда и напитки.

Золотухин сразу заметил Варвару. Граф Бокалов накануне познакомил их, представив Золотухина как своего хорошего «кореша». И Варвара успокоилась, поняв, что в клубе моряков она будет не одна, что там будут люди, которые в нужную минуту помогут ей. Она не знает их. Но Золотухин предупредил: не нужно волноваться. Все обойдется хорошо. Ведь даже с Золотухиным она должна обходиться, как с совершенно незнакомым человеком.

В ту ночь, когда непрощенный визитер поручил ей передать книгу «Граф Монте-Кристо», Варвара не ложилась спать. Она сидела в кресле. Пила холодный кофе и листала «Графа Монте-Кристо», но никаких следов тайнописи или какого-то шифра она не находила.

В третьем часу ночи — опять стук в дверь. Долго не открывала, прислушивалась. Наконец узнала голос Графа

Бокалова, ругающегося за дверь. Встретила его как родного. И выложила все, будто на духу.

Граф помрачнел:

— Влипла ты, Варя. Одно дело взлом квартир и карманные кражи. Другое дело — шпионаж. За шпионаж — стенка.

Варвара плакала и просила выручить. Тогда Граф сказал, что он сейчас уйдет на некоторое время и чтобы она, кроме него, Графа, никого в квартиру не впускала, ни под каким предлогом.

Граф вернулся минут через тридцать, которые показали ей годом, с Золотухиным. Варваре объяснили, что она должна делать и как себя вести.

...И вот сейчас Варвара шла неторопливо. Очень плавной и очень грациозной походкой. Одета в светлое коверкотовое пальто, с черной газовой косынкой на волосах. В правой руке, согнутой в локте, она несла книгу, прижимая ее к груди.

Кто-то из подружек поздоровался с маникюршей. Она кивнула. Затем потянула на себя бронзовую, начищенную до блеска дверную ручку и вошла в клуб моряков.

Фойе блестело паркетом. Лестница из белого мрамора, ведущая на второй этаж, была покрыта широкой темно-бордовой дорожкой с голубыми полосами по краям. Изогнутые канделябры мерцали на стенах, словно свечи.

Гардероб размещался в полуподвале. Варвара сдала пальто. Поправляя волосы, положила книгу на столике возле зеркала. Какой-то мужчина остановился за ее спиной. Она видела лишь блестящие от бриолина волосы и нос с большими ноздрями.

Мужчина маслено улыбнулся:

— Готов спорить, что книга, которую вы читаете, самая увлекательная на свете.

— Не знаю, — ответила Варвара. Она действительно не знала, что это за книга. Она не читала ее и ничего о ней не слышала. Вернее, смутно помнила, что рассказывали еще в детстве подружки, читавшие эту книгу.

— Интересно название, — сказал мужчина.

— «Граф Монте-Кристо».

— О-о... Занимательно. Мы еще увидимся, — бросил мужчина. И крикнул кому-то: — Роза Карловна, одну минуточку...

В бильярдной плавает папиросный дым. На зеленых

столах шары, желтые и блестящие, словно налитые яблоки.

Возгласы. Разговоры. Говорят и по-немецки, и по-французски, и по-английски. Но Варваре все равно. Она не знает другого языка, кроме русского. Учила в школе немецкий: фатер, муттер, киндер... А больше не помнит.

Она сидит, закинув ногу за ногу, в костюме из мягкой шерсти, свежая и привлекательная. И глаза у нее красивые, задумчивые. И она не читает книжку, а думает о чем-то своем, наверное очень важном и очень далеком... Книжка уже полчаса как открыта на одной и той же странице — тринадцатой.

А в танцевальном зале играет радиола. Бойкая мелодия. Называется «Рио-Рита».

Темнокожий в салатовом пиджаке и клетчатых брюках подходит к Варваре, любезно раскланивается. Что-то говорит. Вероятно, приглашает на танец.

Она не менее любезно отказывает. Темнокожий улыбается, обнажая зубы. Они у него обыкновенные. И просто кажутся большими.

Варвара терпеливо слушает музыку. Фокстроты, танго, вальсы...

И вдруг ей стало не по себе. Хотя никто не обращал на нее внимания. И вокруг бильярдного стола мужчины спорили и даже размахивали киями, словно пшлагами. А потолок по-прежнему голубел от дыма. Но у Варвары сердце замирало, словно она прыгала с большой высоты. Сказывалась усталость, вызванная бессонной ночью. Не случайно, собираясь в клуб моряков, Варвара больше часа провела перед зеркалом, растирая лицо кремами, пудрясь, укладывая волосы...

Золотухин сказал, что, если никто не подойдет к ней и не заинтересуется книгой, она должна находиться в бильярдной до тех пор, пока не заиграют танго «Брызги шампанского».

В который раз Варвара перечитывала начало второй главы: «Известие о прибытии «Фараона» не дошло еще до старика, который, взобравшись на стул, дрожащей рукой оправлял настурции и ломоносы, обвившие окошко. Вдруг кто-то обхватил его сзади...»

Подсаживается пузатый иностранец. Маленькие глазки за выпуклыми очками в позолоченной оправе. Прище-

нивающе смотрит на ноги Варвары. Что-то бормочет гну-саво, протягивает чулки.

Чулки, конечно, хорошие. Из черного шелка. И осенью, и зимой такие чулки были бы кстати. Но Варвара не имеет права их брать. Да и лузатый ей противен. Пусть о ней думают, что угодно, но она еще никогда не опускалась до того, чтобы лечь в постель с человеком, который ей не нравится.

«Известие о прибытии «Фараона»...»

«Известие о прибытии «Фараона» еще не дошло...»

Вот и знакомая мелодия. «Брызги шампанского». «Почему брызги? Почему?..»

Варвара поднялась и пересекла танцевальный зал, в котором кружилось всего лишь несколько пар. В раздевалке она лицом к лицу столкнулась с полной, сильно накрашенной дамой, которая, увидев в руке у Варвары книгу, громко воскликнула:

— Я давно мечтала об этом романе! Милочка, вы не оставите мне его почитать?

Не успела Варвара что-либо ответить, как женщина уже потянулась за книгой.

— Пожалуйста, — ответила Варвара.

— Чудесно. Я верну, как только увижу вас здесь.

— Роза Карловна! — окликнула даму гардеробщица. — Вам целый вечер звонит мужчина. А я нигде не могу вас разыскать.

Граф встретил Варвару у выхода. Без всяких предосторожностей сказал:

— Провожу тебя.

Она спросила:

— Это можно?

— Нужно, — ответил он.

Ночь была тихой. Дорога казалась белой, точно вымазанная известью. Сады утопали в темноте. Но вершины деревьев тоже были белыми, как дорога. Светила луна. Большая, полная...

8

Весь вечер Каиров не выходил из своего кабинета, но все, что происходило в клубе моряков, было известно ему до мельчайших подробностей. Телефон звонил каждые пять — десять минут. К сожалению, первые полтора часа не принесли ничего утешительного.

И вдруг:

— Варвара передала книгу пианистке Розе Карловне. В момент передачи книга не была раскрыта на тринадцатой странице. И Варвара находилась в гардеробе, а не в бильярдной. Сейчас Роза Карловна играет на рояле в голубой гостиной. Книга лежит рядом на столике.

— Продолжайте наблюдение... И выясните, по какому телефону ее вечером спрашивал мужчина.

Каиров повернулся, не вставая со стула, и протянул руку в открытый сейф, стоявший за спиной. Он вынул из сейфа тоненькую папку табачного цвета, на лицевой стороне которой была приклеена бумажка и черными чернилами выведено: «Георгец Никодим Харитонович».

Раскрыл папку. На первой странице фотография: хмурое, удлиненное лицо, шея с кадыком, нагловатые, без ресниц глаза.

Не смог удержаться Каиров от улыбки. Он вообще редко улыбался на службе.

Механик судна «Сатурн» Георгец Никодим Харитонович. Это была чуть ли не первая крупная удача. Граф Бокалов оправдал себя. А Варвара, наблюдательная пройдоха, толково выложила устный портрет незнакомца, вручившего ей книгу. Не составляло труда связаться с начальником порта и выяснить, какие суда вышли в море в ночь с понедельника на вторник.

Оказалось, что между субботой и вторником только один сухогруз «Сатурн» швартовался в порту. Он стоял у пристани ровно семнадцать часов и отбыл в Новороссийск во вторник на рассвете. «Сатурн» был приписан к местному порту. В отделе кадров Каиров довольно-таки легко разыскал фотографию, совпадавшую с приметам человека, приходившего к Варваре.

Золотухин показал фотографию маникюрше, и она без колебаний опознала незнакомца.

Кнопка возвышалась над зеленым сукном стола, словно маленькая горошинка. Каиров нажал ее. Дверь открыл сотрудник. Молча остановился у порога, ожидая приказа.

— Введите арестованного.

...Мужчина сутулился. И лицо его было побритым. Он сел на предложенный стул и, щурясь от яркого электрического света, смотрел на зашторенное окно.

— Георгец Никодим Харитонович, — сказал Каиров.

Мужчина кивнул.

— Год рождения 1901-й.

Опять кивок.

— Уроженец города Одессы.

— Да.

— Национальность?

— Родителей не помню. Считаю себя русским.

— Запишем: русский. Образование?

— Самообразование. Юнга. Ученик механика. Затем механик.

— Литературу любите?

Георгец ответил не очень уверенно:

— Люблю.

— Книги каких авторов предпочитаете читать?

— Товарищей Пушкина, Лермонтова...

— Что же вы читали товарища Лермонтова?

Молчание.

— Забыли?

— Да. У меня плохая память на названия.

— В ваши-то годы!

— А что годы? Не годы человека старят, а жизнь.

— И все же странно, — возразил Каиров. — Утверждаете, что поклонник русских классиков, и не можете вспомнить ни одной прочитанной вами книги.

— Про золотую рыбку помню... И еще «Бородино»...

— Это уже лучше. А скажите, книги товарища Дюма вы любите?

— Не знаю.

— Удивительный вы человек. Может, и роман «Граф Монте-Кристо» не читали?

— Не читал.

— Вы оплошали. Я на вашем месте непременно бы прочитал эту увлекательную книгу, прежде чем передать ее маникюрше Варваре.

— Я никому ничего не передавал, — быстро ответил Георгец и насупился.

— Может, вы и с маникюршей Варварой не знакомы?

— Не знаком.

— Что вы делали в понедельник? В ночь с двадцать второго на двадцать третье ноября? — спросил Каиров. — Отвечайте быстро. Или не помните?

— Не помню, — огрызнулся Георгец.

— Даже малолетние преступники врут ловчее.

— Двадцать второго вечером я был на берегу. Выпил вина. Потом познакомился с женщиной и пошел к ней. С берега вернулся во втором часу ночи. Можете спросить у вахтенного.

— Фамилия женщины и где она проживает?

— Я не спрашиваю фамилии у случайных знакомых. А живет она в железнодорожном городке. Где точно, не помню. Был выпивши.

— Как звали женщину?

— Тоня.

— Георгец, вы опять врете. И опять это заметно. Я, разумеется, знаю, где вы были и что делали двадцать второго ноября. Но хочу помочь вам. Мне кажется, вы запутавшийся человек. Но вы не враг. Нам известно, что вы спекулируете по мелочам, иногда даже контрабандными товарами. Вас давно следовало арестовать. Это помогло бы вам встать на честный путь. Однако история, в которую вас втянули сейчас, не уголовное преступление. Она имеет другое определение — шпионаж в пользу иностранной державы.

Георгец стал бледным как полотно.

— Вы неглупый человек. И знаете, что шпионаж в нашей стране карается сурово. Если вы поможете следствию, это будет принято во внимание при вынесении приговора.

— Что я должен сделать? — тихо спросил Георгец.

— Рассказать, кто, где и когда передал вам книгу «Граф Монте-Кристо».

— У меня никогда не было такой книги.

— Вы забыли.

Каиров прикоснулся к кнопке звонка:

— Полагаю, у вас будет время подумать. Вы вспомните все. А завтра утром мы встретимся снова. Разумной ночи, Георгец.

Конвоир увел механика «Сатурна», и Каиров остался один.

Позвонил Золотухин. Сказал, что Роза Карловна благополучно прибыла в свой дом. Комната, которую раньше занимал Мироненко, теперь сдана молодоженам. У них маленький ребенок. Он чем-то болен. Все время плачет. Роза Карловна заходила к квартирантам. Видимо, рекомендовала вызвать врача. Потому что квартирантка тут же оделась и ушла. Роза Карловна проводила ее до ка-

литки. Заверила: «Хороший врач. Старой школы. Сошлитесь на меня, и он придет непременно».

Каиров сказал Золотухину, чтобы тот продолжал наблюдение.

Затем принесли две шифрованные телеграммы из Ростова. В первой сообщалось, что убитый в сентябре Бабляк Федор Остапович разыскивается Саратовской конторой Заготсырье в связи с хищением крупной суммы денег. Вторая телеграмма была очень важной. Она содержала сведения, которые Волгин успел передать Кравцу.

«Значит, так, — расхаживал по кабинету Каиров, — убийство Бабляка не имеет политических мотивов. Возможно, не имеет. Встреча Бабляка и Хмурого, зафиксированная на фотографии, могла быть чисто случайной. А Хмурый прихлопнул Бабляка, видимо, с целью грабежа. Допустим, так... Но куда же Хмурый дел деньги? Не мог ли он передать их Ноздре под видом чемоданчика с вещичками? Мало вероятно... Но придется вспугнуть Ноздю, произвести обыск».

Дела идут хорошо. В руках Каирова три пitti. Георг, Роза Карловна... «Коллекционер купит старые монеты и медали...»

Это уже целая сеть. И рыбе трудно будет из нее вырваться, какой бы крупной она ни была...

В одиннадцать вновь позвонил Золотухин. Соседка привела... доктора Челни.

Ну и Челни! Восьмой месяц работает в уголовном розыске, а частной практикой занимается, словно земский врач. Нужно поговорить с ним официально.

— Следите за Розой. Не спускайте глаз с ее дома.

Через четверть часа Золотухин докладывал:

— Доктор Челни ушел. Роза Карловна жаловалась ему на печень.

— Он тебя видел?

— Да. Поздоровался. И спросил, что я здесь делаю. Я ответил: она опаздывает на свидание.

— Ох, Челни! Я же запретил ему подрабатывать на стороне.

Затем он взял чистый лист бумаги. И стал писать объявление: **КОЛЛЕКЦИОНЕР ПРИОБРЕТЕТ СТАРИННЫЕ МЕДАЛИ И МОНЕТЫ...**

У Старой его никто не ждал. Однако следы копыт и запах конского навоза свидетельствовали, что час или два назад здесь находились два всадника, поспешно ускокавшие на юго-запад, может вспугнутые именно выстрелами.

Анастасия продырявила Требухова в четырех местах. Но у него еще хватило сил вскочить на ноги и пробежать метров десять. А потом он споткнулся и покатился под гору. И Волгин просто случайно увидел тело, застрявшее в кустах, когда метался в поисках воды, надеясь привести Анастасию в чувство.

Требухов был мертв. Но открытые глаза его удивленно смотрели на землю, словно никогда не видели ее раньше.

Минут через пятнадцать Анастасия пришла в себя. Она глядела на Костю с каким-то диким изумлением.

— Какое счастье, что ты жива, — сказал он.

Она молчала.

— Тебе нужно помыться. И ты мне все расскажешь...

Они вместе нашли ручей, и она попросила его уйти. Раздевшись донуга, обмыла себя студеной водой. Вернулась от ручья раскрасневшаяся. И было заметно, что белье она надела на мокрое тело.

— Что случилось? — сразу же спросил Костя.

Анастасия отвечала сбивчиво, волнуясь. Но он понял следующее...

Рано утром в дом егеря Воронина явился Требухов. Он сказал, что Аполлон вовсе не Аполлон, а сотрудник уголовного розыска... Воронин был на пасеке. Но Требухов не стал его ждать. И велел Анастасии быстро собрать необходимые вещички и идти с ним.

— Куда? — Об этом Анастасия спросила, когда они уже находились в лесу.

— К отцу, — ответил Требухов.

— Я хочу к бабушке. В Москву. Покажите мне дорогу...

— Я не знаю в Москву дорогу.

— Тогда я найду ее сама, — решительно ответила Анастасия и повернула на ту дорогу, где и нашел ее Волгин.

— Вернись, — остановил ее Требухов. — Ты знаешь, кто твой отец?

— Догадываюсь...

— Вот-вот... Тебя будут судить, если задержат. Большевики не признают церковных браков. И то, что ты спала с их агентом, не поможет тебе.

— Подлец! Мне безразлично, кто он — сотрудник уголовного розыска или рыбоконсервного завода... Он мой муж. И я люблю его.

Тогда Требухов набросился на нее. Повалил на спину. Но... Из кармана выпал пистолет Кости. И Анастасия выстрелила четыре раза...

— Это правда, что говорил Требухов? Как тебя называть — Аполлоном или...

— Костей. Ты очень разочарована?

— Пусть Костя. Но я хочу знать всю правду. Я должна знать правду... — убежденно сказала Анастасия.

— Вся правда в том, что я люблю тебя.

— А ты... Ты имеешь на это право?

— Я не знаю, что такое право на любовь.

— Но почему ты не сказал об этом тогда, ночью... Ты не верил мне? Ты думал, что я способна тебя предать?

— Я не мог.

— Что мы будем делать теперь?

— Возвращаться на станцию. У нас есть лошадь. И мы доберемся к утру... Жена Воронина слышала, что говорил Требухов?

— Да. Она перепугалась...

— У меня есть краюха хлеба. И я знаю, где растет кизил. Там пообедаем.

— Мне не хочется есть. Совсем не хочется. Как все запуталось. Отец и ты. Он убьет тебя, если поймает?

— Или я его, или он меня...

— Это ужасно. Почему все так сложно в жизни?

— Помнишь у Киплинга «Маугли»?.. Там тигр-людоед.

— Помню.

— Твой же отец лишил жизни людей побольше, чем тигр Киплинга... Семьи вырезал. Детей малолетних не щадил...

— Это ужасно, — повторила Анастасия.

— Садись на коня, — сказал он. — Было бы неплохо засветло выбраться из этих дебрей.

...Они двигались остаток дня, вечер и большую часть ночи.

Потом произошла встреча.

Силуэт всадника, скакавшего одвуконь, мелькнул на фоне неба, более светлого, чем горы и лес, и Волгин сказал Анастасии, что это полковник Козяков. Он сказал, что узнал бы полковника с любого расстояния и ночью, и днем, потому что тот учился верховой езде в императорском Александровском лицее и сидел в седле артистично.

Стук копыт приходил снизу. Можно было догадаться, что всадник уже выбрался из ущелья и горной дорогой, на которой с трудом могли бы разминуться две лошади, поднимался сюда, к дубу, где стояли Анастасия и Костя.

Глухо крикнула большая птица. Улетела в ночь, рассекая воздух черными крыльями...

— Это точно Козяков, — тихо сказал Волгин.

— Спрячемся, — прошептала Анастасия.

— Пусть прячется он. Мы у себя дома. Мы здесь хозяева.

Анастасия вспомнила, что у нее в кармане пальто лежит пистолет мужа. Она опустила руку в карман, чтобы передать Константину личное оружие. Но тут же увидела в правой руке Волгина другой пистолет.

Конь Волгина внезапно заржал. Козяков остановил своего коня.

— Руки вверх! — крикнул Костя и шагнул навстречу полковнику.

Но в это время за его спиной раздался выстрел. Волгин упал плашмя. И даже не вскрикнул...

Вадрогнул конь под Козяковым, поднялся на задние ноги. Едва удержался в седле полковник.

— Не пугайтесь, господин полковник. — Из-за дуба вышел егерь Воронин с ружьем наперевес.

— Кого это ты успокоил, Сергей Иванович? — спросил Козяков, спрыгивая с седла. Но, не дождавшись ответа, вдруг опознал Анастасию и бросился к ней.

— Анастасия! Бог милостив! Бог милостив! Я не рассчитывал тебя найти.

— Что вы наделали? — выдохнула она. — Что наделали? Вы убили его! Мерзавцы, подлецы, бандиты, сволочи...

— Успокойся, дочка. Успокойся...

— Это Аполлон, — сказал Воронин. — Они уже здесь около получаса отдыхали.

Сбросив оцепенение, в которое ее ввел внезапный выстрел, Анастасия подбежала к Волгину. Упала рядом с ним на колени и прижалась лицом к его голове. Пуля, вероятно, попала в затылок. Волгин был мертв. Но кровь еще не остыла.

— Нашел? — спросил Козяков Воронина.

— Да. В полной сохранности. Только перекласть во что-то пужно. Несподручно тащить в горшке будет...

— Придумаем. Где золото?

Егерь повернулся, чтобы идти к дубу, и уже сделал несколько шагов, когда поднялась Анастасия, быстро приблизилась к Воронину и выстрелила в то место, где воротник кожаной куртки облегал шею. Затем она повернулась к отцу:

— А теперь твоя очередь...

— Анастасия! Не смей!

— Не подходи...

— Анастасия, Воронин принес золото. Мы сегодня же уедем отсюда. Уедем туда, куда я обещал...

— Не подходи!

— Я не двигаюсь. Это тебе просто кажется!

Но она выстрелила все равно...

Да... Только все это привиделось Анастасии. Привиделось, приснилось. Бывают же сны, похожие на явь.

Это, конечно, хорошо, что не случилось ничего страшного, непоправимого. Что уснула Анастасия. Просто уснула.

Волгин и Анастасия действительно шли день, вечер и большую часть ночи. Большую часть, но не всю ночь. Потому, что идти всю ночь у Анастасии не было сил. И они сделали привал возле заброшенного шалаша, с которого еще не облетели сморщенные, как гармошка, листья.

И когда Анастасия открыла глаза, то поняла, что они с Костей не одни. Кругом лошади и люди... Потом она услышала голос отца... И перепугалась за Костю...

Но Козяков еще не встречался с Ворониным. Ничего не знал... И он, вероятно, спросил Костю, почему они здесь. И Костя что-то сказал...

Когда Анастасия проснулась, то все уже очень торопились. Козяков сказал ей, что встретились они кстати. И бродить, и скитаться осталось им недолго. Он угадал, словно смотрел в воду. Но, конечно, вкладывал совсем другой смысл в свои пророчества...

Сели на лошадей. Анастасия ехала рядом с Волгиным. Наступало уже утро. Красивое утро. Но вдруг впереди крикнули:

— Красные!

А потом началась беспорядочная стрельба. Конь понес Анастасию, и Волгин едва догнал ее. Схватил коня под уздцы. А пули шипели и свистели. И кора отскакивала от деревьев, и белые щепки тоже. Вспышки выстрелов мелькали, будто кто-то размахивал желто-красными цветами. А потом упал один человек, и другой лежал на земле с разбитым в кровь лицом.

Козяков подтащил пулемет. Пулемет «максим». Поставил на очень хорошее место, а красные были внизу, и прошивать их из пулемета было очень сподручно. Козяков сам лег за пулемет. Брызнуло пламя. И люди внизу словно начали спотыкаться. Тогда Волгин, разгоряченный боем, крикнул:

— Уходи, атаман, я прикрою.

Козяков кинулся к лошади. Прокричал:

— Аполлон, мы поддержим твой отход огнем! Действуй!

Костя лег за пулемет, а козяковцы повскакивали на коней и подались в горы... Но когда они отъехали метров на сто, Волгин развернул пулемет и стал стрелять им вслед. И они падали и кричали. И тяжелые кони летели через головы, ломали хребты, ноги...

Стреляли и сверху; и снизу.

Анастасия лежала рядом с Волгиным и стреляла в бандитов из пистолета. И пуль было больше, чем пчел в улье. И попробуй узнай, чья пуля нашла Костю Волгина. Попробуй узнай!

Костя, конечно, видел, как выпал из седла прошитый очередью полковник Козяков. А что он еще видел, никто не знает...

...Утром кавалерийский дозор задержал молодую девушку с обезумевшими глазами. Она сжимала в руке браунинг и пыталась стрелять. Но патронов в обойме больше не было...

Золотухин стоял у тополя, торчавшего на изгибе улицы. Отсюда ему был виден дом Розы Карловны, вернее,

верхняя часть дома и калитка, потому что высокий фундамент и ступеньки крыльца прикрыли вьющиеся по забору розы. И хотя розы сейчас уже не цвели, кусты их были достаточно густыми, чтобы делать невидимыми с улицы двор и нижнюю половину дома.

После полуночи Золотухин подошел к забору вплотную. Теперь он мог лучше рассмотреть дом и дорожку, пролегающую между домом и палисадником. Тишина. Даже слышно, как маневрируют паровозы, хотя железнодорожное депо не близко... А на часы лучше не смотреть. Время тянется долго. Так долго, словно дремлют часовые стрелки, словно они тоже намотались за день.

И вдруг Золотухин различает звук... Будто скрипнула дверь, заунывно, протяжно... Или показалось?

Бесшумно и легко (уж такая у него походка) Золотухин пробирается к калитке. Отодвигает задвижку. Двор уложен камнями, разными по размеру и по форме разными. Обыкновенными, случайными камнями. Золотухин задевает один из них носком ботинка и едва не падает. Нехорошая примета. А он верит в приметы. Хотя никому не признается в этом. Комнаты, в которые ведет парадное крыльцо, занимают квартиранты. Роза Карловна живет в противоположной части дома.

Двор густо зарос деревьями и виноградом. Во дворе темнее, чем на улице. И плохо видно из-за темноты. Золотухин огибает дом. Если с улицы дом имеет высокое, бетонное крыльцо, с белыми, гладкими ступеньками, то с тыльной стороны — длинная деревянная терраса, незастекленная.

Золотухин останавливается возле узких ступенек, заглядывает на террасу. Дверь в комнату приоткрыта. Немного приоткрыта. На ширину ладони. Ну, может, чуть больше. Странно. Одинокая женщина. Пожилая. Ложится спать и забывает прикрыть дверь. Некоторое время Золотухин неподвижен. Потом, вынув из кармана наган и фонарик, поднимается на террасу и рывком распахивает дверь.

Луч фонарика опережает его. Роза Карловна лежит на смятой подушке. Рот широко раскрыт, глаза большие, набрякшие.

...Приезжает Каиров и с ним несколько оперативных работников. Машина останавливается под горой. К дому

поднимаются гуськом. Каиров тяжело дышит от быстрой ходьбы. Пока доктор Челни осматривает труп, Каиров и Золотухин бродят по саду. Выясняется, что сад заканчивается оврагом. Непроходимым? Как сказать? Просто поросшим кустами ежевики и хмеля...

Доктор Челни констатирует, что никаких внешних следов насильственной смерти на теле Розы Карловны нет. Окончательное решение покажет вскрытие.

Да, но где же роман Дюма? Может, в доме есть тайник? Нужно все обыскать тщательнее.

11

Когда он подержал письмо над паром, между строчек выступили цифры.

010	056	002.	009
003	223	068	003
009.	068	008	204

И еще другие цифры.

Тринадцатая страница романа «Граф Монте-Кристо» начиналась следующей строкой: «Будь в Париже улица Каннебьер, Париж был бы маленьким Марселем».

Десятой была буква «ж», третьей буква «д», девятой «и»...

«Жди...» И далее, таким же методом, — «...яхту тридцатого косого мыса два часа ночи сигнал круги красным огнем».

Мужчина взял книгу, письмо, конверт. Подошел к печке. Открыл заслонку. И бросил письмо и конверт в пламя. Затем он по два, по три листка вырывал из книги и тоже клал их в огонь, свертывая в трубочки...

После он разворошил пепел кочергой. И вышел из дому. Небо было облачным. Солнце не показывалось. Было прохладно.

На улице, в конце которой высилось, мутнея стеклянной крышей, здание рынка, женщины торговали последними георгинами. На углу рыбного магазина мужчина остановился. Среди десятка объявлений, написанных на обрывках бумаги (Ищу няню. Продаю шкаф. Учу игро

на баяне...), мужчина отыскал одно, видимо заинтересовавшее его.

**КОЛЛЕКЦИОНЕР ПРИОБРЕТЕТ
СТАРИННЫЕ МЕДАЛИ И МОНЕТЫ,
А ТАКЖЕ ЛИТЕРАТУРУ
ПО НУМИЗМАТИКЕ.
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
ГЛАВПОЧТАМТ,
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ,
ЛАЗАРЕВУ ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ.**

12

Таблетка акрихина была горькой на вкус и очень приятной, светло-желтой на цвет. Каиров поморщился, запивая таблетку водой, и выругался в душе: опять подобралась лихорадка, нашла ключик. И всему причиной два последних происшествия — ночное — с Розой Карловной и утреннее — с механиком судна «Сатурн».

В голове гудело. И немного знобило. И пот, который выступал на лбу и под мышками, был очень холодным, как вода из-под крана.

Пришел Граф Бокалов.

— Здравствуйте, Мирзо Иванович.

— Здравствуй, Володя. Садись!

Граф подвинул стул поближе к столу.

— Ты не интересовался, Володя, почему в тебя стреляли?

Граф рассудительно ответил:

— Можно допустить один из двух вариантов: или меня с кем-то перепутали, или кому-то известно, что я на... — Он хотел сказать «на вас», но тут же поправился: — ...что я у вас работаю.

— У нас много людей работает. Но без причины в наших сотрудников не стреляют.

— Разве я сотрудник?

— Внештатный... Но при желании и старании... Ладно, мы еще вернемся к этому разговору в более подходящий момент. А сейчас, Володя, к тебе еще один вопрос. Ты мне обо всем рассказываешь?

— Мирзо Иванович, как вы можете сомневаться! Все, что представляет мало-мальский интерес, вам известно.

— А то, что не представляет мало-мальского интереса?

— Разве я имею право отнимать у вас время на всякую чепуху?

— Дорогой, если в человека стреляют, это не чепуха. Иди к Нелли, возьми у нее чистой бумаги. И опиши все, день за днем, до того вечера. Пиши, с кем встречался, о чем говорил, что делал. Факты, мне известные, можешь не описывать.

Как только Граф ушел, принесли заключение медицинской экспертизы. Оно подтвердило предположение Каирова: Роза Карловна не умерла своей смертью, ее задушили.

Оставалось последнее. Объявление.

— Нелли, разбудите Золотухина.

Золотухин вначале умылся. И лишь потом пошел к начальнику.

— Георгец раскололся? — первое, что спросил Золотухин.

— Нет.

— Вы его допрашивали?

— Нет. — Каиров говорил, как всегда, когда он был раздражен, «нэт».

Но Золотухин никогда не отличался особым тактом и, казалось, не замечал плохого настроения начальника.

— Не успели?

— Как ты угадал? Не успел.

— Может, допросим?

— Этого нельзя сделать. Сегодня утром, за завтраком, Георгец принял яд.

Золотухин присвистнул от удивления.

— Не знаю, где уж он хранил цианистый калий. Но могли же его подбросить здесь, у нас! В моем учреждении! Но он принял яд с чаем, предварительно аппетитно позавтракав. Эта детальстораживает.

— Нужно проверить отпечатки пальцев на посуде, — решительно предложил Золотухин.

Каиров махнул рукой:

— А... Чтобы подбросить яд в чай, не обязательно касаться кружки. Дошкольники такими делами не занимаются. Теперь одна надежда на объявление,

В те времена членский билет общества Красного Креста и Красного Полумесяца мог явиться документом, весьма уважительным для того, чтобы, заглянув в него, вам могли выдать корреспонденцию «до востребования».

Два дня спустя, после того как объявление появилось, на углу рыбного магазина, что стоит возле колхозного рынка, Золотухин показал девушке с почты, сидящей за широким расколотым стеклом, членский билет Лазарева Юрия Михайловича и вежливо осведомился, не поступало ли что-нибудь на это имя.

Признаться, Золотухин был не в состоянии скрыть удивление, когда девушка приветливо положила перед ним пять писем. Достаточно было одного беглого взгляда, чтобы понять — письма писали разные люди.

Однако вежливость — прежде всего. Золотухин ответил улыбкой на улыбку девушки с почты. И поспешил к Каирову.

Итак, писем было пять.

Распечатали первое:

«Мы, члены краеведческого кружка школы № 8, прочитав ваше объявление, решили установить с вами контакт, но не на предмет купли и продажи старинных монет и медалей. А для взаимного обмена медалями и монетами... С пионерским приветом...»

Второе:

«Товарищ Лазарев!

У нас на чердаке лежат какие-то книги, на которых изображены монеты и медали. Но книги эти не русские. А на каком языке, не знаю. Если они вам нужны, отдам их даром. Василенко, работаю токарем».

Третье письмо было своеобразным:

«Ответьте мне на один вопрос, гражданин Лазарев: почему случается так, что в то время, как вся страна и весь народ напрягают силы на создание тяжелой индустрии, находятся люди, которые не помогают стране и народу в гигантском строительстве, а зарываются в мешанской трухе и выискивают разные монеты и медали, отлитые при ненавистном царском режиме? Недорезанный буржуй вы, гражданин Лазарев».

Подписи, разумеется, нет. Обратного адреса тоже.

В четвертом письме некий товарищ Коблев, шофер автобазы райпотребсоюза, предлагал товарищу Лазареву черкесский кинжал в серебряных ножнах. Кинжал очень старинный. Но... Шофер Коблев честно признавался, что ни монет, ни медалей у него нет.

«В память о моем покойном муже я храню коллекцию монет, собранную им в первые годы нашей совместной жизни. Это большая коллекция. И я не очень разбираюсь в ней, но помню, что среди монет имеется даже луддор времен Людовика XIV, которым муж мой очень гордился. В свободное время можете навестить меня, во второй половине дня я всегда дома. Адрес: улица Мойка, 16, кв. 41. Седых Ольга Павловна.»

Каирову было над чем задуматься. Золотухин сказал:

— В этом весь фокус. Лазарев один. Адресатов же в городе, где население триста тысяч, не считая приезжих... Адресатов может быть сколько угодно. Я не удивлюсь, если завтра милая девушка предложит десяток писем.

Конечно Золотухин преувеличил. На другой день девушка с почты положила перед ним четыре письма, на третий день тоже четыре. Больше писем пока не поступало.

Тринадцать писем! Роковое число. Не будем приводить здесь содержание остальных писем. Первые пять достаточно характеризуют корреспонденцию, поступившую на имя Лазарева Юрия Михайловича.

— Знаешь что, — сказал Каиров Золотухину, — Козяков, видимо, сообщил Волгину не весь пароль, а только первую его часть.

— Не вижу смысла, — возразил Золотухин. — Я склонен думать, что Волгин не успел впопыхах рассказать все Кравцу. Или Кравец запомнил. Будь Костя жив... Я одного не пойму, почему его тогда опять понесло в горы.

— Я говорил с Кравцом по телефону. У него создалось впечатление, что Волгин вернулся из-за этой девочки, из-за Анастасии. И Кравец не мог запретить ему. Так как задание не было выполнено до конца, он имел все основания вернуться в горы. Это было его право на риск, дело профессиональной чести.

— Да. Я знал Костю. Если он полюбил, значит, девчонка заслуживала этого.

С минуту было молчание. Может, как дань уважения погибшему товарищу. Может, это получилось просто само собой...

— Так, дорогой Золотухин, все-таки мне кажется, что Козяков сообщил Волгину первую половину пароля, вторую он сообщил другому человеку, который должен был схватить тайно от Волгина и даже следить за ним. Вероятно, этим человеком был Требухов. В момент, когда Волгин получил бы корреспонденцию «до востребования», они повстречались бы, и тот, другой, выбрал бы нужное письмо. Ибо он знал условные слова, которых не знаем мы. Выход один. Писем всего тринадцать. Пионеры не в счет и строитель индустрии тоже. Остается одиннадцать писем. Следует уточнить, что за люди их авторы. Действуй.

На столе под папками лежали листки, исписанные Графом Бокаловым. И когда Золотухин ушел, Каилов принял папки и подвинул листки к себе.

Граф писал крупным почерком, слегка наклоненным влево, жирно макая перо в чернила, и поэтому буквы вышли сочными и броскими. И читать было легко.

Вначале Каилов откладывал листок за листком, дивясь добросовестности Графа и тем не менее не находя в записях ничего интересного. Но вдруг он вздрогнул, словно коснулся чего-то холодного. И вновь перечитал абзацы, насторожившие его.

«Не знаю, из каких источников Варвара узнала, что у старушки водится золото. Возможно, все это явилось плодом воображения Варвары. Я не высказывал определенного отношения к предложению Варвары, но и не мог отказать от участия «в деле», чтобы не навлечь подозрений Левки Сивого.

Наконец Варвара прямо высказалась, что пора нанести визит мадам Седых (так она называла старушку — хозяйку квартиры).

Мы работали втроем.

Левка остался на улице. Я и Варвара вошли в подъезд. И я тут же почувствовал беспокойство. И Варвара тоже. Мы остановились, одолев первую ступеньку. Дверь захлопнулась, и свет проходил через окно над дверью, которое было заделано цветными маленькими, размером с половинку кирпича, стеклами. Зеленые и красные пятна лежали на полу и на обшарпанных стенах, словно в подсвеченном аквариуме.

По лестнице кто-то спускался. Секунд через пять мы увидели на площадке сухонького пожилого человека, немного сутуловатого, который, судя по звуку и частоте шагов, спускался довольно легко. Заметив нас, человек остановился, круто повернулся и быстро пошел вверх.

Мы тоже пошли, потому что стоять было дальше пеловко. И Варвара и я чувствовали себя скованно. Мужчины поднимался все выше и выше. Наконец на четвертом этаже он вошел, как нам показалось, в сорок первую квартиру — квартиру мадам Седых. Мы точно не видели, куда вошел мужчина. Но были уверены, что скрипнула именно левая дверь. Постояв на площадке, мы так и не рискнули стучать и представляться инспекторами городского жилищного управления. Мы вернулись вниз, а Левке сказали, что не достучались...»

Остальные записи не представляли ничего любопытного, разве что в психологическом плане. А между тем... в Графа Бокалова стреляли.

Каиров перевел взгляд на листок, где были записаны фамилии одиннадцати человек, откликнувшихся на объявление нумизмата, подчеркнул фамилию Седых и поставил против нее жирный восклицательный знак.

14

— Володя, ты смог бы опознать того пожилого мужчину, которого видел в подъезде дома мадам Седых?

— Разумеется, Мирзо Иванович. Тем более что я видел его не только в подъезде, но и в тот вечер, когда Варвара носила книгу в клуб моряков. На обратном пути он повстречался нам на Приморском бульваре. Я сразу шепнул об этом Варваре. У меня гениальная память на лица.

— Проверим, — решил Каиров.

И уже через час Бокалов с Золотухиным, как выразился Граф, «арендовали» комнату Варвары. Из окна отлично был виден шестнадцатый дом на Мойке и подъезд, ведущий в квартиру сорок один.

К Варваре в комнату провели телефон и обещали не отключать, что, естественно, обрадовало хозяйку.

Целый день Золотухин и Граф наблюдали безрезультатно. К вечеру набежали тучи. Стал моросить дождь. Распахнулся ветер... Людей на улице поубавилось. И это

облегчало задачу Графа. Но окно сделалось мокрым, и приходилось всматриваться, до боли напрягая глаза.

Вероятно, Граф был человеком везучим. Когда казалось, что темнота вот-вот наступит, наступит раньше, чем зажгутся фонари, Граф сказал:

— Он.

— Ты не ошибся? — спросил Золотухин, глядя на человека, шагавшего под дождем.

— Нет. Смотри, он сейчас свернет в подъезд. Ну? Что я говорил?

Золотухин позвонил Каирову:

— Мирзо Иванович, Бокалов опознал человека, зашедшего во второй подъезд дома шестнадцать. Да, но это, к моему удивлению... доктор Челни.

— Следите за ним, — сказал Каиров. — Поджидай на улице. Когда он выйдет из дому, пусть Граф сообщит мне по телефону.

Через полчаса Каиров получил у прокурора разрешение на обыск в квартире Седых Ольги Павловны. А также ордер на арест доктора Челни и на обыск в его квартире. Еще четверть часа назад, просматривая материалы расследования обстоятельств отравления механика судна «Сатурн», Каиров обратил внимание, что в момент приготовления завтрака на кухне кроме повара находился только один человек, доктор Челни, который снимал пробу пищи.

А еще через некоторое время Каиров установил, что отпечатки пальцев, оставленные доктором Челни на посуде, совпали с теми, что были обнаружены в комнате Нелли на стеклах книжного шкафа.

15

Доктор Челни вышел из дома мадам Седых черным ходом, через котельную. Нет, он не заметил, что дом находится под наблюдением. Но его чутье, поистине волчье чутье, вызвало к осторожности.

Итак, человек, который дал объявление, на встречу не явился. Возможно, он уже задержан. Возможно, нет. Гадать не стоит. На эту явку доктор больше не придет.

Девять лет прожил он в городе, нося личину подточенного годами старика. Доверчивый народ. На последнем году даже в милицейские врачи пробрался. Репута-

ция: не пьет, не курит, к больным внимателен. Достойный человек.

Интересно, довольны ли его работой там, за границей. Организовать банды и на первых порах снабдить их оружием ему удалось. Но потом... Не хватило ловких людей, способных переправить боеприпасы из города в горы. Первая осечка вышла на Баблике. Ему было обещано место на яхте при условии, что он отработает его — займется доставкой патронов Козякову. Баблик согласился, но после струсил. Хмурый чисто убрал его. Но угрожал Хмурого за старые грешки. Оpozнал. Привесил хвост. Пришлось ликвидировать. Грубо. В самый последний момент. А заодно с Хмурым и Мироненко. Он мог слышать, как Челни звонил в гостиницу и велел не появляться возле афиши «Парижский сапожник», потому что встреча с этим олухом, Хмурым, была назначена у рекламного щита.

Георгец идиот. Да, ему пришлось работать с такими идиотами, как Георгец, который способен доверить девке важное поручение только потому, что он однажды с ней спал. Пришить бы эту Варвару, да некогда. Пришлось пожертвовать Розой Карловной. И самое печальное, оставить следы...

Челни свернул на Приморский бульвар. Здесь ветер был сильнее и слышался шум волн. Челни с испугом подумал, что, если разыграется шторм, яхта едва ли придет тридцатого. Ветер качал редкие фонари, и круги света прыгали по скамейкам, по голым деревьям, по мокрому асфальту. И представлялось, что это мечется сам бульвар. На душе доктора было очень беспокойно.

Лодочник Кузьмич, как и договорились, ждал его у «бочонка». Возле стойки, прямо на открытом воздухе, пили еще несколько забулдыг. Челни попросил стакан «Букета Абхазии». Отошел с Кузьмичом в темпоту.

— Ящики сегодня утопи, — негромко проговорил Челни.

— Все шесть?

— Да.

— Свежевато на море.

— Деньги тебе отправлены по почте.

Кузьмич кивнул, что понял.

Челни донил свое вино. Стакан поставил на прилавок. Купил пачку «Казбека». И пошел дальше, к набережной.

Возвращаться домой он считал опасным. Однако сутки нужно было где-то отлежаться. Идти к Кузьмичу было бы верхом неосмотрительности. Его вполне могут задержать, когда он будет сбрасывать в море ящики с оружием. Бродить по городу — не лучший выход из положения. Каиров наверняка объявит розыск.

Есть только одно место, где можно укрыться. По адресу, который оставил Хмурый...

Ноздря встретил его неприветливо. Смотрел с подозрительной настороженностью. Отвечал кратко и негромко, словно ленился раскрывать рот. Но Челни не был обескуражен холодным приемом. Именно таких замкнутых, осторожных людей, как Ноздря, Челни считал надежными, достойными доверия.

Он выложил перед Ноздрей сто рублей и сказал:

— На текущие расходы. Завтра получишь вдвое больше.

Ноздря спросил:

— Где желаете находиться? В доме или в тайнике?

— Веди в тайник, — решил Челни.

Ноздря повел Челни тем же путем, которым когда-то шел Граф Бокалов.

В тайнике было холодно и сыровато.

— Да-а... — поежился Челни.

— Можно электроплитку организовать, — сказал Ноздря.

— Умно. Это было бы очень умно, — согласился Челни.

Вскоре Ноздря принес ржавую электроплитку и узелок с продуктами.

— Ужинайте. — Ноздря вытащил из кармана неполную бутылку самогона. Поставил ее на сундук перед Челни.

В узелке были яйца, хлеб, огурцы, пустой стакан. Челни налил самогону в стакан. И тут он совершил последнюю, роковую ошибку. Может, ему уж очень понравился Ноздря, может, осечка, вышедшая у него с Графом, раздражала, будто заноза, во всяком случае, он сказал:

— Вы знакомы с Графом Бокаловым?

— Да, — ответил Ноздря.

— Не доверяйте ему, он работает на Каирова.

Внешне Ноздря реагировал на предостережение Челни так же «бурно», как если бы услышал: «Приготовьте галоши, завтра пойдет дождь».

Короче, он даже не шевельнул бровью. Словно Челни ничего и не говорил. Между тем в голове его мелькнула такая мысль: если Каиров подсылал к нему Графа, значит, дела плохи, значит, надо спасать собственную шкуру. А как спасать? Можно ли спасти? Кажется, да.

И, выбрав момент, Ноздря ударил Челни бутылкой по голове. Связал. Очистил карманы. Деньги припрятал в укромное место. Пистолет, какие-то порошки, бумаги завернул в сверток. И пошел к Каирову...

...Подочник Кузьмич этой же ночью был задержан пограничниками. А еще через сутки чекисты встретили яхту у мыса Косого.

16

«Дорогая, Марфа Гавриловна!

С большой скорбью сообщаю Вам тяжелую весть о героической гибели Вашего сына и товарища нашего, Лобачева Семена Матвеевича, который бесстрашно и не щадя жизни сражался с белобандитами, отстаивая завоевания рабочих и крестьян.

Ваш сын, Лобачев С. М., был храбрым и сознательным красноармейцем, пользовался любовью и уважением товарищей. Память о нем навсегда сохранится в сердце революционного народа.

Похоронен Ваш сын и наш дорогой товарищ, Лобачев Семен Матвеевич, на кладбище в станице Лабинской.

С командирским приветом!

Комэска Лихоносов

20 ноября 1933 года».

«Здравствуйте, Оксана Петровна!

С большим горем и скорбью спешу сообщить, что муж Ваш, Иван Антонович Поддувайло, героически погиб в схватке с белобандитами, отстаивая завоевание трудового народа.

Товарищ Поддувайло И. А. был храбрым и сознательным красноармейцем, пользовался уважением друзей. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Похоронен Ваш муж и наш дорогой товарищ, Поддувайло Иван Антонович, на кладбище в станице Лабинской.

С командирским приветом!

Комэска Лихоносов

20 ноября 1933 года».

Иван Беспризорий и Боря Кнут родственников и близких не имели.

ЭПИЛОГ

И опять светило солнце. Здесь всегда так. Сегодня дождь или мокрый снег, а завтра солнце, жаркое, южное. И словно нет на земле никакой осени, нет зимы. Только весна и лето. И небо было голубое. И море голубое. Они сливались совсем незаметно, и поэтому казалось, что город повис в голубом воздухе.

Башенки на железнодорожном вокзале были цвета неба, а все здание — белое и желтое, похожее на дворец какого-нибудь бухарского эмира.

Люди на перроне торговали виноградом, каштанами, вяленой ставридкой и белыми хризантемами. Проводница сказала, что здесь меняют паровоз и стоянка продлится двадцать пять минут, но Анастасия не вышла из вагона, а стояла на площадке прокуренного тамбура. Она знала, что ее должны встречать друзья Кости Волгина, и считала, что на площадке ее легче найти, нежели в толпе у вагона. Анастасия ехала в Гагры, в санаторий, ее направили туда ростовские врачи, под наблюдением которых она находилась целый месяц.

Золотухин поднимал над головой букет хризантем. Каиров обеими руками прижимал к груди кудек с виноградом из сада старика Надара.

— Я вас узнал сразу, — заявил Золотухин. — У вас внешность героини. Вам нужно сниматься в кино.

Анастасия была бледна. И улыбалась от смущения, но румянец не проступал на ее щеках. И они оставались желтыми, словно из воска. Только глаза были живые. И печальные. Она сказала, что очень тронута. Просила Каирова помочь ей оформить брак с Костей. Она хотела, чтобы ребенок Волгина носил фамилию отца.

Каиров заверил Анастасию, что любил Костю, как родного, и сделает для Анастасии все...

Потом поезд пятился. И Каиров, и Золотухин, и еще какая-то женщина, сунувшая ей в руку пакетик конфет, которую мужчины называли Нелли, махали Анастасии. А она стояла на площадке рядом с усатым абхазцем-кондуктором и смотрела на них.

Под колесами загремел мост через зеленую речку с черными от мазута берегами... И Анастасия увидела море. Оно было живое. И от этого еще более величественное, чем на картинах в Третьяковке. Волны шли друг за другом. Большие волны с белыми холками. И разбивались где-то у поезда. Но Анастасия не видела, как разбиваются волны. И лишь брызги попадали ей на лицо. Она знала, что брызги блестят от солнца. И они блестели. И хотелось, чтобы так было всегда.

Гудел паровоз, прикрываясь дымом, как зонтиком. Мельтешили телеграфные столбы. Город удалялся...

Этот незнакомый солнечный город, в котором она не была ни под одной крышей, не бродила по улицам. И все же больше не считала его чужим, потому что там остались люди, которые знали ее, верили ей. Люди — ее друзья!

Туапсе — Москва

1964—1966

СОДЕРЖАНИЕ

Солнце над окопами	5
Сколько зим	13
Восход в пять сорок	33
Дни в сентябре	60
Еж с дальнего берега	92
Мост	103
Конверт с незабудками	111
Последняя засада	119

Юрий Николаевич Авдеевко
СОЛНЦЕ НАД ОКОПАМИ

Редактор *И. Петрова*
Художник *Н. Захаржевский*
Художественный редактор *Г. Гречиго*
Технический редактор *Л. Мельникова*
Корректор *Л. Миронова*

* * *

Г-44842
Сдано в набор 20.9.67 г.
Подписано к печати 27.12.67 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂
Печ. л. 8. Усл. печ. л. 13,12. Уч.-изд. л. 12,723
Типографская бумага № 2
Изд. № 4/8770.
Тираж 75 000.
Цена 56 коп.
Зак. 5400.

* * *

Военное издательство Министерства обороны СССР
Москва, К-160

Набрано в 1-й типографии Военного издательства
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3
Отпечатано с матриц в 4-й военной типографии
гор. Киев-15, ул. Январского восстания, 40

Авдеенко Юрий

**A18 Солнце над окопами. Повесть. Рассказы. М.,
Воениздат, 1968.**

256 стр., 75 000 экз., 56 к.

В 1961 году Юрий Авдеенко окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. До этого служил в Советской Армии рядовым, сержантом. Армейская тема — главная в творчестве молодого литератора.

В книге «Солнце над окопами» вошли произведения, рассказывающие о патриотизме и мужестве советских людей в период борьбы с фашистскими захватчиками, о преемственности поколений в славных боевых традициях Советской Армии, о напряженной учебе наших вонзов в мирные дни и хорошей солдатской дружбе.

**В ВОЕННОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
В 1968 ГОДУ
ВЫЙДУТ КНИГИ:**

- А. Ананьев.** После войны. Роман.
А. Андреев. Берегите солнце. Повести.
М. Бубеннов. Бессмертие. Повесть, рассказы.
Н. Грибачев. Здравствуй, комбат!
Повесть, рассказы.
О. Горчаков. Лебединая песня. Повесть.
М. Колесников. Жизнь без аплодисментов.
Повесть.
Н. Логинов. Трижды в жизни. Повести
и рассказы.
С. Смирнов. Семья. Документальная повесть.
А. Туйницкий. Трудное утро. Повести.

Книги Военного издательства продаются в магазинах «Военная книга», в книжных киосках и в библиотечных коллекторах управлений торговли и военных округов и флотов. Их можно приобрести также по почте наложенным платежом по домашнему адресу, направив заказ отделу «Военная книга — почтой» окружного магазина «Военная книга».